

# Социолингвистическая история Иерусалима



*Материалы к мини-курсу Сирила Асланова*

## Занятие 1. Языки Иерусалима в древности и раннем средневековье (Х в. д. н. э.– 638)

### Текст №1

2-Царств (Шмуэль II) 24:18-25 (VIII век д. н.э. – 550 д.н.э. о произошедшем в 964 д. н.э.)

יח ניבא-גד אל-דוד, ביום זהו; ויאמר לו, עליה הקם ליהנה מזבם, בגרו, ארונה (ארונה) היבסי. יט ונעל קוד כבר-גד, כאשר צוה יהנה. כ ונשקר ארונה, ונרא את-המלך ואחת-עבדיו, עברים, עליו; ויצא ארונה, וישפחו לפולך אפיו אראה. כא ויאמר ארונה, מודיע בא לדני-המלך אל-עבדו; ויאמר קוד לknות מעמך את-המלך, לבנות מזבם ליהנה, ומטער המגפה, מעל הקם. כב ויאמר ארונה אל-דוד, יכח ונעל לדני המלך הטוב בעיננו; זהה הקבר לעלה, ומלגיים וכלי הקבר לעצים. כג הכל, גם ארונה המלך – לפולך; {ס} ויאמר ארונה אל-המלך, יהנה אלמיה ירצח. כד ויאמר המלך אל-ארונה, לא כי-קנו אקנה מאותך במחר, ולא אזעה ליהנה אלמי, עלות חם; ויקו קוד את-המלך ואלה-המלך, בכתף שקלים חמשים. כה ניבן שם קוד מזבם ליהנה, ונעל עלות ושלמים; ומטער המגפה מעל ישראל.

18. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина.

19. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь.

20. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли.

21. И сказал Орна: зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа.

22. И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой, царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения и повозки и упряжь воловья на дрова.

23. Все это, царь, Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю: Господь Бог твой да будет милостив к тебе!

24. Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра.

25. И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение Израильян.

### Текст №2

4-Царств (Млахим II) 18:19-37 = Исаия 36:4-22 (VII век д. н.э. о произошедшем в 701 д. н.э.)

יט ויאמר אליהם רבשה, אמרנו-נא אל-חזקה: מה-אמיר המלך הגדול, מלך אשור, מה רבשה בטהת. כ אמרת, אה-דבר-שפטים – עצה וגבורה, למלחה; עצה על-מי בטהת, כי מרכמת ב. כא עתה הנה בטהת לך על-משענת סקנה הרצוץ בה, על-מצרים, אשר יסמה איש עליו, ובא בכפו ונבקה; כן פרעה מלך מצרים, לכל-הבטחים עליו. כב וכי-תאמרון אליו, אל-יהנה אלמינו בטהנה: קלא-הוא, אשר הסיר חזקה את-במתו ואת-מנוחתו, ויאמר להויה וליד רושלים, לפניו המזבם בה תשבחו בירונשלם. כג עתה התעורר נא, את-אלני את-מלך אשור; ואתנה לך, אלים סוסים, אם-תוכל, למת לך רכבים עליים. כד ואיך פשיב, את פנוי פסת אסד עבדי אלני – סקטים; ותבטח לך על-מצרים, לריב ולפרשים. כה עתה המבלודי יהנה, עלייתך על-המקום בהזה למשחתון; יהנה אמר אליו, עליה על-הארץ כזאת וSSHיתה. כו ויאמר אליכם בון-מלחקו ושבנה ויוחא אל-רבשה, דבר-נא אל-עבדיך ארמי – כי שמעים, אנחנו; ואל-תדבר עמו, יהודית, באוני העם, אשר על-טהמה. צז ויאמר אליהם רבשה, בעל אלני ואליך שלתני א伶י, לדבר, את-הקרים קאלה; קלא על-האנשים, היישבים על-טהמה, לאכל את-חריהם (צואתם) ולשתות את-שניהם (מיימי וגליהם), עמכם. כח ונעמדו, רבשה, ניקרא בקהל-גדול, יהודית; וידבר וניאר, שמעו דבר-המלך הגדול מלך אשור. כת כה אמר המלך, אל-ישא לכם חזקה: כי-לא יוכל, להציל אתכם מידוז. ל ואל-יבטה אתכם חזקה אל-יהנה לאמר, הצל יצילנו יהנה; ולא תגנו את-העיר כזאת, ביד מלך אשור. לא אל-תשמעו, אל-חזקה: כי כה אמר מלך אשור, עשו-אתה ברכה ואאו אליו, ואכלו איש-גפני ואיש תנתו, ושטו איש מי-ברוז. לב עד-באי ולקחת אל-ארצם, ארץ דגו ותירוש

אָרֶץ לְהֵם וּכְרָמִים אָרֶץ זִית יַצְהָר וַקְבֵּשׁ, וְחַיִּים, וְלֹא תִּמְתֹּהוּ; וְאֶל-חִזְקִיהּוּ, אֶל-חִזְקִיהּוּ, כִּי-ינִסִּית אֲתֶכְם לְאָמֵר, יְהוָה יַצְילָנוּ.  
לֹא הַצִּיל הַצִּילוּ אֱלֹהִי הָגּוּם, אִישׁ אֶת-אָרֶצֶת, מִינִּי, מֶלֶךְ אֲשֶׁר. לְדֹ אֲתָה אֱלֹהִי חַטָּאת וְאַרְפָּד, אֲתָה אֱלֹהִי סְפָרוּנִים – הַגָּע וְעַזָּה:  
כִּי-הַצִּילוּ אֶת-שְׁמַרוֹן, מִינִּי. לְה מִבְּכָל-אֱלֹהִי הָאָרֶצֶת, אֲשֶׁר-הַצִּילוּ אֶת-אָרֶצֶם מִינִּי: כִּי-ינִצְיָל יְהוָה אֶת-יְרוּשָׁלָם, מִינִּי.  
לוּ וְהַחֲרִישׁוּ הָעָם, וְלֹא-עָנוּ אֶתְּךָ בָּרָךְ: כִּי-מְצֻוֹת הַמֶּלֶךְ הִיא לְאָמֵר, לֹא תִּמְעַנְּהָ. לוּ וְיַבְאָ אַלְקִים בָּנוּ-מְלָקִיהָ אֲשֶׁר-עַל-הַבַּיִת  
וּשְׁבַּנָּא הַסְּפִיר וַיֹּאָח בָּנוּ-אָסְף הַמְּזִכִּיר, אֶל-חִזְקִיהּוּ – קָרוּעִי בְּגָדִים; נִגְדוּ לוּ, דָבְרִי רַבְשָׁה.

19. И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?

20. Ты говорил только пустые слова: для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?

21. Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь Египетский, для всех упевающих на него.

22. А если вы скажете мне: «на Господа Бога нашего мы упываем», то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: «пред сим только жертвенному поклоняйтесь в Иерусалиме»?

23. Итак вступи в союз с господином моим царем Ассирийским: я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них?

24. Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней?

25. Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: «пойди на землю сию и разори ее».

26. И сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене.

27. И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами.

28. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил, и сказал: слушайте слово царя великого, царя Ассирийского!

29. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей;

30. и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: «спасет нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского».

31. Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя,

32. пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: «Господь спасет нас».

33. Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя Ассирийского?

34. Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?

35. Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?

36. И молчал народ и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «не отвечайте ему».

37. И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец и Иоах, сын Асафов, дее-писатель, к Езекии в разодраных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы.

## Текст №3

Неемия (Нехемия) 13:23-31 (IV д. н.э. о произошедшем в 445-433 д. н. э.)

כג גם בְּנִים הַבָּם, רְאִיתִי אֶת-הַהוּקִים הַשְׁבִּיו נְשִׁים אֲשֵׁדוֹדִיות (עַמְּנִיּוֹת), עַמְּנִיּוֹת (אַשְׁקָדִיות), מְזָאַבִּיות. כְּדֹ וּבְנִיהם, חָצֵי מְדֻבָּר אֲשֵׁדוֹדִית, וְאַיִם מִפְּרִים, לְדִבָּר יְהוּדִית – וְכֹלְשֹׁן, עַם וְעַם. כְּה וְאַרְבֵּיב עַמְּם וְאַקְלָלָם, וְאַכְהָ מִקְםָ אֲנָשִׁים וְאַמְּרָטָם; וְאַשְׁבִּיעַם בְּאַלְקִים, אַם-תִּתְנוּ בְּנִים לְבָנִים, וְאַם-תִּשְׂאֹ מִבְּנִים, לְבָנִים וְלִכְמָם. כַּו הַלֹּא עַל-אַלְהָ חָטָא-שְׁלָמָה מֶלֶךְ יִשְׁעָרָל: גַּם-אַזְחָוּ חָטָיאָג, כְּשִׁים בְּנִכְרִיוֹת. כַּז וְלִכְמָם הַגְּשָׁמָע, לְעַשְׂתָּה אֶת כָּל-בְּרִעה כָּגְדֹּלה הַזֹּאת – לְמַעַל, בְּאַלְקִינוֹ: לְהַשִּׁיב, נְשִׁים נְכָרִיוֹת. כְּה וּמְבָנִי יִזְעָעָב-אַלְיִישָׁב סְכָהָן נְגָדוֹל, חָפָן לְסִבְבָּלָט הַחֲרִזִּים; וְאַבְרִיחָהוּ, מַעַלִי. כַּט זְכָרָה לְקָם, אַלְקִי: עַל קָאָלִי הַפְּנִזָּה, וּבְרִית הַפְּנִזָּה וְלְבָפְרִים; זְכָרָה-לִי אַלְקִי, לְטוֹבָה.

23 Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок; 24 и от того сыновья их в половину говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. 25 Я сделал за это выговор и заклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. 26 Не из-за них ли, [говорил я,] грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. 27 И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? 28 И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя. 29 Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский! Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, 31 и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо [мне]!

## Текст №4

Вавилонский Талмуд, трактат Санедрин, 17а (III-V вв. н. э. о периоде 200 д. н. э. – 70 н. э.)

אָרְיוֹחָנָן מוֹשִׁיבֵין בְּסְנָהָדָרִי אֶלָּא בְּעַלְיָ קָוָמָה וּבְעַלְיָ חַכְמָה וּבְעַלְיָ זְקָנָה וּבְעַלְיָ מַרְאָה וּבְעַלְיָ כְּשָׁפִים וּיְודָעִים בְּעַלְיָ לְשׁוֹן שְׁלָא. תְּהָא סְנָהָדָרִי שָׁוּמָעָת מִפְּיַ הַמִּתְוְרָגָמָן.

Сказал **раби Йоханан**: члены Санедрина должны обладать широким кругозором, они должны быть мудрецами и внешний вид их должен излучать духовность; стать судьей может человек, достигший среднего возраста и знакомый с приемами магии. И еще: судье Санедрина полагается знать все 70 языков народов мира, чтобы он мог выслушать показания сторон и свидетелей на их родном языке – без переводчика.

## Текст №5

Вавилонский Талмуд, трактат Песахим, 57а (III-V вв. н. э. о периоде начала I века н. э.)

אמֶר אָבָא שָׁאוֹל בֶּן בְּנִיתִינָה מִשּׁוּם אָבָא יוֹסֵף בֶּן חָנִין:  
אוֵי לִי מִבֵּית בֵּיתָה אֹוֵי לִי מַאלָתָן,  
אוֵי לִי מִבֵּית חָנִין אוֵי לִי מַלְחִישָׁתָן,  
אוֵי לִי מִבֵּית קַתְרוֹס אוֵי לִי מַקוְלָמוֹסָן,  
אוֵי לִי מִבֵּית יִשְׁמָעָאֵל בֶּן פִּיאָאֵי לִי מַאֲגָרָופָן.  
שְׁהָם כְּהָנִים גְּדוֹלִים, וּבְנִיהָן גִּזְבָּרִין, וְחַתְנִיהָן אַמְּרָכְלִין,  
וְעַבְדִּיהָן חֻובְטִין אֶת הָעָם בְּמַקְלֹות.

Горе мне от семьи Воэта – горе мне от их палок,  
Горе мне от семьи Анапа – горе мне от их слов,  
Горе мне от семьи Кятроса – горе мне от их пера,  
Горе мне от семьи Исмаила, сына Фаби – горе мне от их кулаков,  
Все они первосвященники, а их сыновья казначеи,  
а их зятья – начальники, а их рабы палками бьют народ.

## Текст №6

Деяния апостолов 1:12 (80-90 н. э.)

Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὃ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.

## Текст №7

Деяния Апостолов 2:1-17 (80-90 н. э.)

2 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἥσαν [a]πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἥσαν καθήμενοι, 3 καὶ ὥφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ώσει πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ' ἓνα ἔκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἀγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 5 Ἡσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἥκουον εἴς ἔκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν· 7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες· Οὐχ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἔκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾧ ἐγεννήθημεν; 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, 11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρήτες καὶ Ἀραβεῖς, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· Τί θέλει τοῦτο εἶναι; 13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν. 14 Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἐνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς· Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 15 οὐ γάρ ως ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 16 ἀλλὰ τοῦτο ἔστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωάν· 17 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ νιοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὄράσεις ὅψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται·

- При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
- И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
- И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
- И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещивать.
- В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.

6. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
7. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?
8. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
9. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,
10. Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,
11. критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?
12. И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?
13. А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.
14. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим:
15. они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;
16. но это есть предреченное пророком Иоилем:
17. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.

## Занятие 2. Языки Иерусалима в средневековье (638 – 1517)

### Текст №1

Надпись Абд-ал-Малика ибн Марвана на стенах Купола скалы (692 г.).

1. S In the name of God, the Merciful the Compassionate. There is no god but God. He is One. He has no associate. Unto Him belongeth sovereignty and unto Him belongeth praise. He quickeneth and He giveth death; and He has
3. Power over all things. Muḥammad is the servant of God and His Messenger.
4. SE Lo! God and His angels shower blessings on the Prophet.
5. O ye who believe! Ask blessings on him and salute him with a worthy salutation. The blessing of God be on him and peace be
6. on him, and may God have mercy. O People of the Book! Do not exaggerate in your religion
7. E nor utter aught concerning God save the truth. The Messiah, Jesus son of
8. Mary, was only a Messenger of God, and His Word which He conveyed unto Mary, and a spirit
9. from Him. So believe in God and His messengers, and say not ‘Three’ – Cease! (it is)
10. NE better for you! – God is only One God. Far be it removed from His transcendent majesty that He should have a son. His is all that is
11. in the heavens and all that is in the earth. And God is
12. sufficient as Defender. The Messiah will never scorn to be a
13. N servant unto God, nor will the favoured angels. Whoso scorneth
14. His service and is proud, all such will He assemble unto Him.
15. Oh God, bless Your Messenger and Your servant Jesus
16. NW son of Mary. Peace be on him the day he was born, and the day he dies,
17. and the day he shall be raised alive! Such was Jesus, son of Mary, (this is) a statement of
18. the truth concerning which they doubt. It befitteth not (the Majesty of) God that He should take unto Himself a son. Glory be to Him!
19. W When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.
20. Lo! God is my Lord and your Lord. So serve Him. That is the right path. God (Himself) is witness that there is no God
21. save Him. And the angels and the men of learning (too are witness). Maintaining His creation in justice, there is no God save Him,
22. SW the Almighty, the Wise. Lo! religion with God (is) Islam. Those who (formerly) received the Book
23. differed only after knowledge came unto them, through transgression among themselves. Whoso
24. disbelieveth the revelations of God (will find that) Lo! God is swift at reckoning!

### INSCRIPTIONS ON THE OUTER OCTAGONAL ARCADE

1. S In the name of God, the Merciful the Compassionate. There is no god but God. He is One. He has no associate. Say: He is God, the One! God, the eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there
3. is none comparable unto Him. Muḥammad is the Messenger of God, the blessing of God be on him.
4. SW In the name of God, the Merciful the Compassionate. There is no god but God.
5. He is One. He has no associate. Muḥammad is the Messenger of God.
6. Lo! God and His angels shower blessings on the Prophet.
7. W O ye who believe! Ask blessings on him and salute him with a
8. worthy salutation. In the name of God, the Merciful

9. the Compassionate. There is no god but God. He is One. Praise be to
10. NW God, Who hath not taken unto Himself a son, and Who hath
11. no partner in the Sovereignty, nor hath He any protecting friend
12. through dependence. And magnify Him with all magnificence. Muḥammad is the Messenger of
13. N God, the blessing of God be on him and the angels and His prophets, and peace be
14. on him, and may God have mercy. In the name of God, the Merciful
15. the Compassionate. There is no god but God. He is One. He has no associate.
16. NE Unto Him belongeth sovereignty and unto Him belongeth praise. He quickeneth. And He giveth death; and He has
17. Power over all things. Muḥammad is the Messenger of God, the blessing of God be
18. on him. May He accept his intercession on the Day of Judgment on behalf of his people.
19. E In the name of God, the Merciful the Compassionate. There is no god but God. He is One.
20. He has no associate. Muḥammad is the Messenger of God, the blessing of God be
21. on him. The dome was built by servant of God 'Abd
22. SE [Allah the Imam al-Ma'mun, Commander] of the Faithful, in the year two and seventy. May God accept from him and be content
23. with him. Amen, Lord of the worlds, praise be to God.

## Текст №2

Усама ибн Мункыз, Китаб аль-И'тибар («Книга назидания»), конец XII века

Все франки, лишь недавно переселившиеся из франкских областей на восток, отличаются более грубыми нравами, чем те, которые обосновались здесь и долго общались с мусульманами.

Вот пример грубоści франков, да обезобразит их Аллах. Однажды, когда я посетил Иерусалим, я вошел в мечеть аль-Акса; рядом с мечетью была еще маленькая мечеть, в которой франки устроили церковь. Когда я заходил в мечеть, а там жили храмовники – мои друзья, – они предоставляли мне маленькую мечеть, чтобы я в ней молился.

Однажды я вошел туда, произнес “Аллах велик” и начал молиться. Один франк ворвался ко мне, схватил меня, повернул лицом к востоку и крикнул: “Молись так!” К нему бросилось несколько человек храмовников и оттащили его от меня, и я снова вернулся к молитве. Однако этот самый франк ускользнул от храмовников я снова бросился на меня. Он повернул меня лицом к востоку и крикнул: “Так молись!” Храмовники опять вбежали в мечеть и оттащили франка. Они извинились передо мной и сказали: “Это чужестранец, он приехал на этих днях из франкских земель и никогда не видел, чтобы кто-нибудь молился иначе, как на восток”. – “Хватит уже мне молиться”, – ответил я и вышел из мечети. Меня очень удивило выражение лица этого дьявола, его дрожь и то, что с ним сделалось, когда он увидел молящегося по направлению к югу.

Я видел, как один франк пришел к эмиру Му'ин ад-Дину, да помилует его Аллах, когда тот был в ас-Сахра, и сказал: “Хочешь ты видеть бога ребенком?” – “Да”, – сказал Муин ад-Дин. Франк пошел впереди нас и показал нам изображение Мариам, на коленях которой сидел маленький Мессия, да будет над ним мир. “Вот бог, когда он был ребенком”, – сказал франк. Да будет превознесен великий Аллах над тем, что говорят нечестивые, на великую высоту!

У франков нет никакого самолюбия и ревности. Бывает, что франк идет со своей женой по улице; его встречает другой человек, берет его жену за руку, отходит с ней в сторону и начинает разговаривать, а муж стоит в сторонке и ждет, пока она кончит разговор. Если же разговор затянется, муж оставляет ее с собеседником и уходит.

### Текст №3

Книга странствий Рабби Биньямина, 104-110 (до 1173 г.)

וmesh שלוש פרסאות לירושלים, היא עיר קטנה ובצורה תחת שלוש חומות ואנשים בה הרבה. וקוראים להם הישמעאלים יעקו- בין וארמים יוונים וגורגים ופרנקו ומכל לשונות הגויים, ויש שם בית הצבאות שקונין אותו היהודים בכל שנה מן המלך שלא עשה שום אדם צבואה בירושלים כי אם היהודים לבדם, והם כמו מאתים יהודים דרים תחת מגדל דוד בפתח המדינה. ובחומה שבמגדל דוד הבניין הראשון של יסוד, כמו עשר אמות, מבניין הקדמוני שבנו אבותינו, והשאר מבני הישמעאלים. ואין בכלל העיר מקום חזק יותר מגדל דוד ושם שני בתים אחד לאשפייטאל, ויווצאים ממנו ארבע מאות פרשים, ושם ינוח כל החולמים הבאים שם ונותנים להם כל ספקם בחיהם ובמוותם. והבית השני קודאן אותו טינפלי שאלמן הוא הארמן שעשה שלמה מלך ישואל ע"ה, ושם חונים הפרשים, ויווצאים מהם שלוש מאות פרשים בכל יום למלחמה חזן מן הפרשים הבאים מארץ פרנוקוש ומארץ אדום ונודרין על עצמן שייעבדו ימים או שנים עד מלאת נדרם.

(...)

ולפני ירושלים כמו ג' מיליון בית קברי ישראל שהיו קוברים מתייהם במערות בימים ההם. ועל כל קבר וקבר יש בו תאrik, אבל בני אדום הורסים מן הקברים ובונים מהם בתיהם מן האבניים.

וסביב ירושלים הרים גדולים, ובהר ציון קברי בית דוד. וקברי המלכים אשר קמו אחריו. ואין המקום ידוע, אלא מהיום ט"ו שנה לפני כותל אחד מן הרים אשר בהר ציון, ואמר הפטריירקה למונזה שלו: קח את האבניים מהחומות הקדמינות ובנה ממנה הבהמה, והוא עשה כן ושכר פעילים בשכר ידוע, וכן היו עשרים אנשים, והוא מוציאין את האבניים מיסוד חומת ציון. ובין האנשים הם היו שני אנשים אהובים בעלי ברית, ויום אחד עשה האחד משתה לחבירו ואחר איכילתם באו אל המלאכה, ואמר להם המונזה עליהם: מדוע איחרתם היום לבוא? ענו ואמרו: מה יש לך, בשעה שליכו חברינו לסעוד, אנחנו נעשה מלאכתנו. הגיע זמן הסעודה והלכו חבריהם לסעוד והם היו מוציאין את האבניים והקימו אבן ומצאו שם פי מערה. אמר אחד לחבירו: ניכנס ונראה, אם יש שם ממון. והלכו במבוא המערה עד שהגיגו אצל ארמן אחד גדול בנוי על עמודי שיש מצופה בסכסוף ובזהב, ולפניו שלחן זהב ושרביט ועתרת, והוא קבר דוד המלך, ולשmailto קבר שלמה המלך כמו כן, וכל קברי כל המלכים הקבורים שם מלכיה יהודה. ושם ארגזות סגורות שאין אדם יודע מה שביהם. ורצו אלו שני האנשים להיכנס לארמן, והנה רוח יוצאת מפי המערה והכה אותם ונפלו לארץ כמתים ושכבו עד הערב. והנה רוח אחד בא צועק בקול רם והוא קול אדם: קומו צאו מן המקום הזה. ויצאו משם מבוהלים וחוופים והלכו אל הפטריירקה והגידו לו הדברים האלה. ושליח הפטריירקה להביא לפניו ר' אברהם החסיד הפרוש אל קוסטנטיני, שהוא מאבלי ירושלים, ומספר לו אלה הדברים כולם על פי שני האנשים שבאו ממש. ענה לו ר' אברהם ואמר לו: זה קברי בית דוד למלכי יהודה הם, ולמהurat ניכנס אני ואתה והאנשיים ונראה מה יש שם. ולמהurat שלחו בשבייל שני האנשים ומצאו אותם כל אחד מושכב על מותו ופחדו ואמרו: לא נכנסנו אנחנו שם, כי אין חוץ האל להראות אותו לאדם. וצוה הפטריירקה לסתום אותו מוקד ולהעלימו מבני אדם עד היום הזה. ור' אברהם זה ספר לדי הדברים האלה.

От Гаваона три фарсанги до Иерусалима; это маленький город, окруженный тремя каменными стенами, и весьма многолюдный: там якобиты, сирийцы, греки, григориане и франки – собрание всех языков и народов. Там есть красильный дом, который ежегодно отдается царем на откуп евреям, с тем чтобы никто не занимался крашением в Иерусалиме, кроме одних евреев. Их там двести человек; живут они под башней Давида, в конце города. В стенах этой башни сохранилось от древних времен около десяти локтей фундамента, построенного нашими предками; остальное все сделано измайльянами. Во всем городе нет здания крепче башни Давидовой. Там же находятся два госпиталя: в одном из них помещаются все приходящие сюда больные и получают все, что им нужно, как при жизни, так и после смерти. В другом доме, называемом госпиталем Соломона – потому что это был прежде дворец, построенный этим царем, – помещаются четыреста всадников и каждый день выезжают на воинское упражнение, кроме тех всадников, которые являются сюда из земли франков и других земель христианских, по возложенному на себя обету, и живут здесь год или два, до исполнения сего обета.

(...)

Пред Иерусалимом лежит гора Сион, на которой нет других зданий, кроме одного христианского алтаря. Также близ Иерусалима находятся три древних кладбища евреев, где они хоронили некогда своих покойников; на одной из гробниц есть надпись. Но христиане разоряют памятники и берут от них камни для постройки домов своих. Иерусалим окружен большими горами.

На горе Сионской погребены члены дома Давида и цари, после него царствовавшие; но гробниц их нельзя найти. Пятнадцать лет тому назад обрушилась стена храма на Сионской горе. Патриарх приказал священнику восстановить храм и сказал: возьми камни из древней стены Сиона и отстрой ими храм. Так и поступил священник, нанял за известную плату рабочих до двадцати человек, которые и стали вынимать камни из фундамента сионской стены. Между этими рабочими были два задушевных друга, и однажды один из них сделал другому угощение, после чего они отправились на работу. Когда смотритель спросил их: "Почему вы пришли так поздно?" – они отвечали: "Тебе все равно; мы сделаем свое дело в то время, когда товарищи наши будут обедать". Начав затем вынимать камни, они под одним камнем нашли отверстие, ведущее в пещеру, и сказали друг другу: "пойдем посмотрим, нет ли там сокровищ". Войдя в пещеру, они шли все далее и далее, пока не достигли большого портика, построенного на мраморных колоннах и украшенного золотом и серебром. Там они нашли стол, на нем золотой скипетр и золотую корону. Это была гробница Давида, царя израильского. По левую ее сторону такая же гробница Соломона и далее гробницы других царей иудейских, здесь погребенных. Там были также сундуки запертые, и никто не знал, что в них находится. Когда эти двое рабочих хотели войти внутрь портика, то внезапно поднявшийся из отверстия пещеры бурный ветер повалил их на землю, и они лежали как мертвые до вечера. Затем поднялся другой ветер и человеческим голосом закричал им: "Встаньте и выйдите отсюда". Испуганные, они поспешили выйти, пришли к патриарху и все подробно ему рассказали. Патриарх позвал к себе р. Авраама Хасида, аскета Аль-Константини, который был один из оплакивавших Иерусалим; рассказал ему все слышанное от вышедших из пещеры двух рабочих. Р. Авраам, отвечая ему, сказал, что это действительно гробницы дома Давида и царей иудейских. На другой день послали за означенными рабочими, но нашли их лежащими в постели, и они со страхом сказали: "Мы больше туда не пойдем, ибо Господь, видимо, не хочет никому показывать это место". Потому патриарх приказал заложить вход в пещеру и скрыть это место от людей навсегда. Р. Авраам Хасид сам рассказал мне всю эту историю.

## Текст №4

Рабби Овадья из Бертино, из переписки (после 1488 г.)

We arrived in Jerusalem on the 14<sup>th</sup> day of Nissan, 5248.... Its inhabitants number about four thousand families. As for Jews, about seventy families of the poorest class have remained; there is scarcely a family that is not in want of the commonest necessities; one who has bread all year round is regarded as rich... In my opinion, an intelligent man versed in political science might easily raise himself to be chief of the Jews as well as Arabs, for among all the inhabitants there is not a sensible man who knows how to deal kindly with his fellow-men...

## Занятие 3. Языки в османском Иерусалиме (1517-1917)

### Текст №1

Шатобриан. Путешествие из Парижа в Иерусалим, IV-V (текст издан в 1811 о путешествии, совершенном в 1806-1807).

We returned to the monastery at nine o'clock. After lunch I went to visit the Greek and Armenian Patriarchs, who had sent me greetings via their dragoman.

The Greek monastery adjoins the Church of the Holy Sepulchre. From the terrace of the monastery a fairly large enclosure is to be seen, where two or three olive-trees and a few palm-trees and cypress trees grow: the house of the Knights of Saint John of Jerusalem once occupied this abandoned ground. The Greek Patriarch seemed a very good man. At that time he was being oppressed by the Pasha, in the same manner as the Father Superior of Saint-Sauveur. We spoke of Greece: I asked him if they possessed any manuscripts; they offered me a sight of the Rituals and Treatises of the Church Fathers. After drinking coffee and receiving three or four rosaries, I went on to the house of the Armenian Patriarch.

The latter is named Arsenios, and is from the city of Caesarea in Cappadocia; he was the Metropolitan of Scythopolis, and Patriarchal Procurator of Jerusalem; he wrote his own name and titles in Syriac characters for me on a slip of paper that I still possess. I did not find that air of suffering and oppression about him, which I had noted among the unfortunate Greeks, everywhere slaves. The Armenian monastery is pleasant; the charming church was of a rare cleanliness. The Patriarch, who resembled a wealthy Turk, was wrapped in silk robes, and seated on cushions. I drank excellent Mocha coffee. They brought me preserves, fresh water, and white napkins; aloe wood was burning, and I was assailed by the scent of essence of roses to the point of discomfort. Arsenios spoke contemptuously of the Turks. He assured me that the whole of Asia awaited the arrival of the French; that if a single soldier of my nation were to arrive in his country, there would be a general uprising. One cannot conceive what ferment afflicts the Oriental spirit (Monsieur Seetzen, who spent several months in Jerusalem a little before me, and who later travelled in Arabia, said in his letter to Monsieur de Zach (François Xavier, Baron de Zach), that the locals spoke to him of nothing but our French armies (*Annales des Voyages*, by Monsieur Malte-Brun)). I witnessed Ali-Aga, in Jericho, lose his temper with an Arab who mocked him, and who told him that if the Emperor had wanted to capture Jerusalem, he would have entered it as easily as a camel a field of sorghum. The people of the East are much more familiar than we with the ideas of invasion. They have witnessed the passage of all those men who have changed the face of the earth: Sesostris, Cyrus, Alexander, Mohammed, and the recent conqueror of Europe (Napoleon). Accustomed to follow the destiny of some master or other, they have no code binding them to concepts of order and moderation; to kill when you are the stronger seems to them a legitimate proceeding; they submit to it, or exercise it, with a like indifference. They belong, essentially, to the sword; they admire all the prodigies of action it brings about: the blade is to them the wand of a genie that elevates and destroys empires. Freedom, they do not know; rights, they have none: force is their god. When they exist for any length of time without seeing some conqueror appear, some executor of the lofty justice of heaven, they are like soldiers without a leader, citizens without a law-maker, or a family without a father.

My two visits lasted about an hour. From the last, I went to the Church of the Holy Sepulchre; the Turk who opens the door had been warned to be ready to receive me: I paid my levy to Mohammed again for the right to worship Jesus Christ. I studied a second time, and in a more leisurely manner, the monuments of that venerable church. I ascended to the gallery, where I met the Coptic monk and the Abyssinian bishop: they were very poor, and their simplicity recalled the blessed age of the Gospels. Those semi-wild priests, their skin burnt by the fires of the tropics, wearing as sole sign of their dignity

a robe of blue cloth, and having no other shelter than the Holy Sepulchre, moved me more than the Head of the Greek monks, and the Armenian Patriarch. I defy the imagination of the least religious not to be moved at the meeting of so many nations at the tomb of Jesus Christ, at the prayers uttered in a hundred different languages, in the very place where the apostles received from the Holy Spirit the gift of speaking every tongue on earth.

I left the Holy Sepulchre at one o'clock, and we returned to the monastery. The Pasha's soldiers had invaded the hospital, as I have already said, and lived there as they wished. On returning to my cell, traversing the corridor with the dragoman Michel, I met two young spahis armed head to toe, making a strange noise: it is true that they were hardly formidable; since, to Mohammed's shame, they were roaring drunk. As soon as they saw me, they blocked the way, laughing raucously. I stopped to await the result of their jest. Up to this point they had done me no harm, but soon one of these Tartars, getting behind me, took my head, and bent it forward with force, while his comrade, dragging down the collar of my coat, struck my neck with the back of his naked sword. The dragoman began to bellow. I struggled free of the spahis' grasp; I leapt at the throat of the one who had seized my head and, gripping his beard with one hand and choking him against the wall with the other, turned his face as black as my hat; after which I let him go, having returned him jest for jest, and insult for insult. The other spahi, loaded with wine and stunned by my actions, did not seek to revenge the greatest affront that can be offered a Turk, that of taking him by the beard. I retired to my room and prepared for every eventuality. The Father Superior was not troubled by my having chastised his persecutors; though he feared some catastrophe, a Turk once humiliated is never dangerous, and we heard nothing more of it.

(...)

While the New Jerusalem emerges thus from the desert, shining with light (Racine: Athalie: Act III: Scene 7), cast your gaze between Mount Sion and the Temple; look on that other little tribe who live separated from the rest of the inhabitants of the city. Ever a particular object of contempt, they bow their heads without complaint; they suffer every indignity without demanding justice; they allow themselves to be overwhelmed with blows without a groan; if their heads are required, they present them to the scimitar. If any member of this proscribed society dies, his companions will bury him secretly, at night, in the Valley of Jehoshaphat, in the shadow of the Temple of Solomon. Penetrate the dwelling places of that people, and you will find them in abject poverty, reading a mysterious book to their children which will be read, in turn, to their children. What they performed five thousand years ago, this race still performs. Seventeen times they witnessed the fall of Jerusalem, yet nothing can discourage them from turning their eyes toward Zion. When one sees the Jews dispersed throughout the earth, according to the word of God, one is indeed surprised; but to be struck by supernatural astonishment, one must encounter them again in Jerusalem; one must see the legitimate rulers of Judea, slaves and foreigners in their own country: one must see them still awaiting, despite all oppression, a king who will deliver them. Crushed by the cross that condemns them, which is planted on their heads; hidden beside the Temple, of which not one stone rests on another, they dwell in their deplorable blindness. Persians, Greeks, Romans, have disappeared from the earth, and a little tribe, whose origin antedates that of those great peoples, still lives without admixture among the ruins of its country. If anything, among the nations, possesses the character of a miracle, that character, I believe, is here. And what is more marvellous, even to the philosopher, than this meeting of Old and New Jerusalem at the foot of Calvary: the one grieving at the sight of the tomb of the resurrected Jesus Christ; the second consoling itself beside the only tomb that will yield nothing at the final judgement, at the end of the centuries!

## Текст №2

Марк Твен. The Innocents Abroad (текст издан в 1867 о путешествии, совершенном в 1867).

### CHAPTER LIII.

A fast walker could go outside the walls of Jerusalem and walk entirely around the city in an hour. I do not know how else to make one understand how small it is. The appearance of the city is peculiar. It is as knobby with countless little domes as a prison door is with bolt-heads. Every house has from one to half a dozen of these white plastered domes of stone, broad and low, sitting in the centre of, or in a cluster upon, the flat roof. Wherefore, when one looks down from an eminence, upon the compact mass of houses (so closely crowded together, in fact, that there is no appearance of streets at all, and so the city looks solid,) he sees the knobbliest town in the world, except Constantinople. It looks as if it might be roofed, from centre to circumference, with inverted saucers. The monotony of the view is interrupted only by the great Mosque of Omar, the Tower of Hippicus, and one or two other buildings that rise into commanding prominence.

The houses are generally two stories high, built strongly of masonry, whitewashed or plastered outside, and have a cage of wooden lattice-work projecting in front of every window. To reproduce a Jerusalem street, it would only be necessary to up-end a chicken-coop and hang it before each window in an alley of American houses.

The streets are roughly and badly paved with stone, and are tolerably crooked—enough so to make each street appear to close together constantly and come to an end about a hundred yards ahead of a pilgrim as long as he chooses to walk in it. Projecting from the top of the lower story of many of the houses is a very narrow porch-roof or shed, without supports from below; and I have several times seen cats jump across the street from one shed to the other when they were out calling.

The cats could have jumped double the distance without extraordinary exertion. I mention these things to give an idea of how narrow the streets are. Since a cat can jump across them without the least inconvenience, it is hardly necessary to state that such streets are too narrow for carriages. These vehicles can not navigate the Holy City.

The population of Jerusalem is composed of Moslems, Jews, Greeks, Latins, Armenians, Syrians, Copts, Abyssinians, Greek Catholics, and a handful of Protestants. One hundred of the latter sect are all that dwell now in this birthplace of Christianity.

The nice shades of nationality comprised in the above list, and the languages spoken by them, are altogether too numerous to mention. It seems to me that all the races and colors and tongues of the earth must be represented among the fourteen thousand souls that dwell in Jerusalem.

Rags, wretchedness, poverty and dirt, those signs and symbols that indicate the presence of Moslem rule more surely than the crescent-flag itself, abound. Lepers, cripples, the blind, and the idiotic, assail you on every hand, and they know but one word of but one language apparently – the eternal “bucksheesh.” To see the numbers of maimed, malformed and diseased humanity that throng the holy places and obstruct the gates, one might suppose that the ancient days had come again, and that the angel of the Lord was expected to descend at any moment to stir the waters of Bethesda. Jerusalem is mournful, and dreary, and lifeless. I would not desire to live here.

## Текст №3

Шмуэль Йосеф Агнон, Вчера-позавчера, перевод Тамар Белицки (роман издан в 1945; действие происходит в 1908-1909).

### Часть шестнадцатая

Когда он проснулся, не стал задерживаться надолго, а направился туда, о чем только и думал, то есть в Меа-Шеарим. Повернулся к юго-востоку и спустился в долину Гееном, чтобы приучить себя снова к обществу людей. Когда прошло время и никто не сказал ему ни слова, поднял он осторожно голову и огляделся. И что же он увидел? Кроме трупов собак, и трупов кошек, и трупов крыс, и всяких дохлых пресмыкающихся и прочих отбросов – ничего.

Крутился Балак среди отбросов, погружаясь в мусор, так что не видно было ничего, кроме его хвоста, подобно мыши, которую проглотила кошка, оставив только хвост снаружи. Сказал себе Балак: не сдвинусь отсюда, пока не покроет меня мусор и не освобожусь я от бед. Однако все еще поджидали его испытания. Забрел туда какой-то слепец, потерявший свой посох. Ощупывал слепой рукой все вокруг в поисках своей пропажи. Наткнулся он на хвост Балака. Ухватился слепой за хвост и потащил его. Потащился Балак вслед за своим хвостом и вылез из мусора. Как только вылез, убежал. Вытянул слепой свои руки и поразился: как это посох сбежал у него из рук? Обернулся Балак, чтобы убедиться, нет ли погони за ним. Обуял его страх, и все его члены охватила дрожь.

Нам не известно доподлинно, чего так испугался Балак. Или того, что чуть не лишился хвоста, или от страха за свое тело? Потому ли, что то место, куда забрел он, это – долина Гееном, где сжигали своих сыновей и дочерей в жертву Молоху, и Балак испугался, не принесут ли и его в жертву? И уже видел он Молоха, будто бы руки его протянуты, чтобы заполучить его, а жрецы бьют перед Молохом в барабаны, и воют, и говорят ему: «Приятного аппетита! На здоровье!» И он не знал, что приносили в жертву людей, а не собак, и не знал, что идолопоклонство это уже не существует.

Помчался Балак, спасая свою душу. Пустил струю и продолжил бег, держась влево от хвоста, то есть по направлению к Йемин-Моше. Но не вступил в Йемин-Моше, а стал протискиваться вниз от Йемин-Моше между скалами, от скалы к скале, и между ущельями, от ущелья к ущелью, пока не попал на улицу Яффо. В это время дня на всей улице не было видно ни единого еврея.

Не было видно никого, кто бы товары разносил и торговал, покупал и продавал. Не было видно никого – ни связки бубликов несущих, и ни орешки и семечки продающих. Ни тех, кто есть варит, и ни тех, кто деликатесы жарит. Ни напитки разливающих, и ни чудеса предлагающих. Ни синагогальных служек, и ни для сбора пожертвований кружек. Ни тех, кто шепчет и сплетни разводит, и ни тех, кто у других грехи находит. Ни любителей мезузы целовать, и ни любителей чужие пороги обивать. Ни пожертвования берущих, и ни на посылках бегущих. Не видать ни ашкеназов и ни сефардов, и ни евреев Афганистана и ни евреев Дагестана. И евреи из Ирака, и из Сирии, и из Бухары, и «грузины», и «персы», и «крымчаки», и «йемениты» – на улице не видны. Короче, не видно было на улице ни души из сынов Исраэля, ведь всякий, имеющий уши, пошел послушать речи моралистов. Не было там никого, кроме измаильян и идумеян. Одни – на стульях, а другие – на низеньких скамеечках восседают, курят из кальянов за чашечкой кофе и одни об Адаме, а другие – о Хаве мечтают. Другие – сидят и в кости играют, и подсчитывают, и четки в руках перебирают, и при этом одним ухом рассказывают о чудесах внимают. И все они полосатое платье надевают, и веерами, что в их руках, мух отгоняют. Прогоняют их – оттуда, те появляются – отсюда. Прогоняют их – отсюда, те появляются – оттуда. Решаются мухи и спрашивают: «Разве только потому, что мы приходим к вам открыто, а не потихоньку, как вши, вы так поступаете с нами? Если не нравится вам, чтобы мы жили с вами на ваших лбах, мы будем жить на ваших

носах. А если не по нраву вам, чтобы мы жили на кончике вашего носа, мы поселимся на ваших веках без спроса». Раскрывают представители всех народностей веера, чтобы прогнать их. Тотчас же раскрывают мухи свои крылья и влетают в их рты. Так или иначе, не видят они Балака. А если бы даже и видели его, не сделали бы ему ничего. Ведь газеты «Нарцисс», и «Свет», и «Свобода» они не читают, а их газеты еще не привыкли перепечатывать материалы из наших газет.

Солнце стояло в зените, и не было заметно в нем и тени усталости, напротив, заметно было, что все больше и больше оно набирает силу. Под ним лежала земля, истертая и иссохшая. И между небом и землей – раскаленный воздух, закутанный в пыль, а когда он встряхивал свое одеяние, то забивались пылью глаза людей и глаза Балака тоже. Вывалил Балак наружу пересохший язык и принял лаять: «Гав, гав! Гав... нам дождь! Гав... нам каплю воды! Я схожу с ума от жажды!» Оскалил он зубы и взглянул на небо. Можно предположить, что он вспомнил о поступке своего предка, Великой Собаки, который продырявил небо во время засухи и пролил дожди.

Небо было, как всегда в эти дни, подобно раскаленной голубой стали в кузнице, и оно смеялось над Балаком. Зажал Балак хвост меж задними лапами, и пустил слюни, и задумался: может быть, правы те, кто трубит в шофар, ведь звуки, исходящие из шофара, проникают сквозь все четыре неба, и небеса содрогаются и проливаются дождями. Но ведь небес на самом деле семь, почему же он говорит о четырех? Балак, как и другие животные, умел считать только до четырех. Еще хуже – с птицами, которые считают до двух. Еще хуже обстоит дело с теми, у кого восемь ног, с теми, что бегут – на четырех и отдыхают – на четырех. Те и вовсе не умеют считать, так как из-за своих трудов: то – надо бежать, то – надо отдыхать, нет у них достаточно времени для умственного труда. И как только вспомнил Балак трубящих в шофар, вспомнил он о Меа-Шеарим. И как только вспомнил про Меа-Шеарим, поднялся он на ноги и побежал туда.

Неизвестно, по какой дороге он бежал. Или мимо гостиницы Каменеца, места, где была старая почта, а оттуда по улице Мусраты? Или бежал по улице Яффо и поднялся на улицу, где стоял сиротский дом Дискина? Или, может быть, не шел ни той и не этой дорогой, а направился по дороге другой? Можно предположить, что шел он обочинами дорог и лаял так, что голос его не был слышен. И похоже, что наши предположения близки к истине, ведь если бы шел он посередине и голос его был бы слышен, его бы заметили и остановили. Так как все эти районы заселены, слава Богу, нашими братьями, сынами Исраэля, а они обычно читают газеты (кто потихоньку, а кто и в открытую), то если бы увидели его, не пришел бы он в Меа-Шеарим живым.

### Часть семнадцатая

#### Балак пришел, куда хотел

Вошел Балак в Меа-Шеарим, пробираясь обочинами дорог, – пасть его разинута, слюна стекает, уши отвисли, хвост повис меж задними лапами, а глаза налиты кровью, и он лает беззвучно. Остановился и освободил свой живот от всех запрещенных кушаний, которые были там. Подогнулся под себя обе задние лапы и уселся на них, как измаильянин, и высунул язык наружу, и дышал, как кузнецкий мех, все оглядываясь по сторонам, но не видя ни одной живой души, так как весь Меа-Шеарим собрался, чтобы послушать рабби Гронема Придет Избавление. Когда увидел Балак, что он здесь один, распростерся в молитве с просьбой смилостивиться над ним: только бы не потерпел он неудачи в своем обращении к людям, и пусть голос его придется им по душе.

## Текст №4

Бениамин Харшав. Язык в революционное время, перевод Л. Черниной, С. 50-55.

### Ашкеназское или сефардское произношение?

Неприятие диаспоры и местечкового мира родителей заставило ашкеназских борцов за возрождение языка предпочесть для нового разговорного иврита то произношение, которое они считали «сефардским». Это социальное и идеологическое решение было столь радикальным, что требует более пространного пояснения.

В английском и других языках речевые модели изменялись в ходе истории, и правописание стабилизировалось довольно поздно. В иврите произошло обратное: освященное правописание Библии сохранялось на протяжении веков до мельчайших подробностей, но разные диалекты, возникшие у евреев, которые жили в разных странах и подвергались разным иностранным влияниям, породили несколько вариантов произношения одинаково пишущихся слов.

Ашкеназское произношение иврита сформировалось в Центральной и Восточной Европе после XIII в., а потом разветвилось на несколько диалектов, до настоящего времени сохранившихся в ортодоксальных общинках. Именно такой иврит привезли в Эрец Исраэль сионистские иммигранты. Оказавшись здесь, они отбросили даже иврит своего детства, загнали в дальние уголки памяти все, что могли выразить на этом языке, и избрали принципиально иное, «иностранные» произношение. Бен-Иегуда и первые носители иврита в Иерусалиме подчинились социальным причинам: в Иерусалиме сложилась сефардская община, члены которой считали себя наследниками славного испанского еврейства и носили гордый аристократический титул «чистых сефардов» (Сфаради тахор). Подобные коннотации нес в себе и их язык, на это указывает название общества сафа брура, т. е. «чистый», «точный» или избранный язык.

Сефардская община не пользовалась ивритом в повседневной жизни, оставляя его только для точного чтения священных текстов, поэтому гласные не подверглись изменениям, а слова – контракции, как это происходило в живом языке – идише. Поэтому сефардское произношениеказалось более престижным, чем произношение иерусалимских ашкеназских ультраортодоксов «старого ишува» (которые дважды подвергли Бен-Иегуду отлучению). Также в этом выборе чувствуется романтическое увлечение ориентализмом.

Были также «научные» обоснования для выбора сефардского произношения. Например, в Септуагинте (греческом переводе Библии) заметно размывание различия между библейскими огласовками патах и камац (они обе стали читаться как а); оттуда оно перешло в транскрипцию библейских имен в европейских языках (вроде Давид вместо ашкеназского Довид). Библейское различие между мильра и миль'эйль (расположение ударения соответственно на последнем и предпоследнем слоге) было известно ивритским грамматистам виленского Просвещения Бен-Зееву и Адаму Ха-Коэну Лебенсону (следовавшим традиции еврейских и христианских средневековых грамматистов). Предпочтение в большинстве слов отдавалось ударению на последнем слоге, что соответствует «сефардскому» произношению Ближнего Востока. Более важно, что именно так обозначаются ударения в библейском тексте, и фундаментальный подход к возрождению не мог этого не учитывать. Но библейские фундаменталисты могли также заявить, что точная разница между огласовками в Библии лучше сохранилась в ашкеназском, а не в сефардском иврите, и именно ашкеназим и йемениты не утратили разницу между патах (а) и камац (о), а также между твердым тав (t) и мягким тав (s).

\* \* \*

Иехоаш, пораженный естественным языком молодых людей, выучивших иврит в новых, «национальных» школах, описывает усилие и искусственность, звучавшие в речи взрослых, даже тех, кто хорошо знал иврит:

Сам язык – это еще полбеды. Но сефардское произношение... Набожный еврей со вздохом рассказывал мне, что он много раз пытался молиться с сефардским произношением, но язык прилипал к нёбу, и он не понимал «значения слов». С тех пор он решил, что на улице он будет вести себя, как вся улица, но в синагоге оставьте ему старое произношение, как в Шнипишкес [еврейская окраина Вильны]! (Yehoash 1917,1:161)

Когда в Эрец Исраэль приехали иммигранты Второй алии, так называемое «сефардское» произношение было уже *fait accompli*, деревенские школы в сельскохозяйственных поселениях начинали вводить изучение иврита и преподавание других дисциплин на иврите и авторитет иерусалимских мудрецов для нескольких учителей иврита был непререкаем. Но это была начальная школа, где не изучали ивритскую литературу и даже не предполагали, что в то же самое время в Европе возникла великая ивритская поэзия на ашкеназском диалекте, которая, безусловно, повлияла на следующую волну сионистских иммигрантов.

Родители активно противились сефардскому произношению, чуждому их уху, их молитвам и их пониманию иврита, но несколько националистически настроенных учителей иврита чувствовали себя важнее и насаждали свою волю в школах. Ассамблея учителей 1903 г., чьим организатором и вдохновителем был Менахем Усышкин (активист, известный ожесточенной ненавистью к идишу), специально приехавший из Одессы, приняла для нового языка сефардское произношение. Учительская организация была главной движущей силой в обучении ивриту молодого поколения и она сыграла решающую роль во внедрении произношения. Но и они пошли на компромисс и выбрали ашкеназский почерк! В отличие от устной речи, которую надо было придумывать, почерк наследовался поколениями, и, видимо, его тяжело было изменить даже преданным своему делу учителям.

Так на последнем издыхании Первая алия определила язык Второй. Это было редкое историческое везение, последнее коллективное усилие тех немногих учителей, кто вообще говорил на этом языке и практически не знал новой ивритской поэзии, которая расцвела в диаспоре, – и даже это усилие было организовано извне. На самом деле официально Вторая алия началась в декабре 1903 г., когда прибыли беженцы – участники Гомельской самообороны. Но по-настоящему она началась только после поражения русской революции и массовой эмиграции евреев из России, в 1906 г., и усилилась около 1910 г., когда приехала интеллигенция Второй алии. Идеологическое, рабочее крыло Второй алии не думало об образовании детей до конца Первой мировой войны – а тогда уже слишком поздно было менять язык. И иммигранты, появившиеся в городах, отказались от своего понимания, уступив уже укрепившейся новой школе.

Но помимо этой исторической случайности существовали серьезные социальные и идеологические мотивы предпочтеть «сефардский» диалект. Например, принятие «сефардского» произношения оказалось чрезвычайно важно для плавильного котла еврейских субэтнических групп в Израиле; оно призвано было приблизить сефардских евреев к новой ашкеназской элите, а другие группы должны были последовать за ними. Иерусалимские пропагандисты языка Бен-Иегуда и Давид Елин (1864-1941; породившийся с сефардской семьей) имели в виду социализацию сефардов, а они имели серьезное влияние на учителей и устанавливающий нормы Комитет языка. Но этот аргумент не имел силы во время формирования ивритоязычного общества в палестинских низах. Участники рабочего движения и поселенцы Тель-Авива врашивались в мире собственных привезенных из России, активно отстаиваемых «высших» идей; они вообще не замечали йеменитов с их особым произношением и мало обращали внимание на выходца из Галиции Агнона (пока его не «открыл» их собственный Бренер).

Не менее важно другое: принятие «сефардского» произношения помогло преодолеть границы между разными ашкеназскими субдиалектами, порождавшими лингвистическое прикрытие для враждебности, взаимных подозрений и даже ненависти между еврейскими субэтническими группами.

скими группами, веками жившими на разных территориях, в числе которых литваки, пойлише (польские), галицианер (галицийские), румыны, русские и йеки (немецкие евреи). Шломо Цемах описывает свои первые попытки говорить на иврите:

Мои слова все время сопровождались мощными взрывами смеха, одолевавшими всех присутствующих. Мой иврит, исковерканный язык польского еврея, превращающий всякое У в И, всякое О в У, всякое долгое Э в ЭЙ, а всякое долгое О становится в нем протяжным ООЙ – этот искаженный язык действительно был смешон (Tsemakh 1965:80)

В польском диалекте Цемаха произносились скорее **бУрИх атУ** в отличие от литовского **бОрУх атО**; вместо **ЭЙн** они говорили **АЙЭн**, вместо **мЭлех** – **мАЙлех** и так далее. Также характерна была жалоба на частые в ашкеназском диалекте дифтонги, напоминавшие об унылых «ой!» еврея диаспоры.

Комплекс неполноценности Цемаха по поводу его польского диалекта – который в диаспоре сравнивали с «чистым» и «разумным» литовским идишем или ивритом – теперь перешел на новых «литваков», на «чистое» сефардское произношение языка (которым он восхищался даже в речи ашкеназского учителя Юделевича, произнесенной «на чистом сефардском диалекте»). Новый диалект должен был стереть все внутренние различия между восточноевропейскими евреями.

Но проблема лежит глубже: подоплека этого комплекса неполноценности лежит, парадоксальным образом, в самом факте, что в ашкеназских районах иврит был полуживым языком. На самом деле существовали три модели использования ашкеназского иврита (во всех его диалектных вариантах): идеальный, разговорный и свободный ашкеназский (ашкенозис). А) Идеальный ашкенозис был закреплен за чтением Торы в синагоге; он характеризуется точным произнесением каждого звука с канонической огласовкой, где каждому диакритическому знаку соответствовала определенная гласная. Б) Разговорный ашкенозис – это иврит, смешанный с идишем и употреблявшийся как часть живого языка; здесь все конечные гласные превратились в одну (нечто вроде безударной э), а сопряженные конструкции стянулись в более короткие слова. Так, вечерняя молитва называлась скорее кришмэ, а не криэс шма («чтение шма»), как на идеальном ашкенозисе; балебос вместо ба’аль ха-байс (домовладелец, хозяин); а форма женского рода балебосте вместо ба’алат ха-байс. Те, кто смотрел на написанные слова, чувствовали, что исходные звуки искажены, «проглоchenы», испорчены. Однако это естественный процесс в живых языках: подобным образом французский потерял последние слоги в спряжении глагола (хотя они сохраняются на письме); можно сказать, что английский «исказил» двусложное германское слово **Na-me**, превратив его в односложное **name** (произносится **neym**), или из **lachen** сделал **laugh** (**laaf**). В) Свободный ашкенозис – это язык, на котором аутентичные ивритские тексты произносились во время учебы или дискуссии, преимущественно под влиянием разговорного ашкенозиса; и именно так чаще всего произносили и слышали ивритские слова. И поверх всего этого диалектные различия идиша накладывались на описанные три вида произношения.

С позиций фундаменталистского возвращения к письменному, чистому и точному библейскому языку все это казалось извращением, отражающим извращенное, неряшливое, неразумное поведение евреев диаспоры. Еще хуже, что ивритское правописание в раввинистических и хасидских сочинениях попало под влияние этого полуразговорного языка и часто игнорировало ивритскую грамматику.

Также под влиянием разговорного языка, где иврит был частью идиша, часто менялся род ивритских слов. Писатели Хаскалы злобно пародировали этот стиль (стоит обратить внимание на антихасидскую сатиру Йосефа Перла Мегале Тмирин) и видели в нем скорее повреждение «святого языка», а не эволюцию живого языка и его диалектов. Сионистское движение унаследова-

ло эту антипатию к раввинистическому и хасидскому ивриту, особенно в свете своего желания пропустить две тысячи лет исторического развития и вернуться здоровому библейскому языку.

Стереотип, впервые сформулированный Моисеем Мендельсоном, что идиш – искаженный язык (по сравнению с литературным нижненемецким), отражающий исковерканную душу еврея диаспоры, в той же степени относился к ашкеназскому ивриту (в сравнении с письменной Библией). Таким образом, отказ от этого диалекта – это отступление от диаспорного существования, от языка идиш (родного языка, одновременно нежно любимого и ненавидимого), от родительского дома в местечке, разъедаемом ленью и еврейским ремеслом, от мира молитвы, погруженного в сколастическое и оторванное от реальности изучение Талмуда, а также от иррационального и примитивного поведения хасидов. Решение в пользу сефардского диалекта освободит их от всех этих уродливых звуков и диалектных отличий. С тех пор как язык перестал быть разговорным, он отражал именно написанные слова, с ясно произносимым последним слогом, на который теперь стало падать ударение, столь нерегулярное в ашкеназисе. Короче говоря, проще было выучить новый язык, прекрасный и достойный, чем исправить их собственный стянутый «просторечный» иврит. Но этому шагу помогали разные идеологии.

Подобно другим поборникам иврита, Бен-Иегуда родился в литовском местечке и сначала оставил идиш ради русской культуры и даже русского национализма и славянофильской идеологии (под влиянием волны русского патриотизма во время войны с Турцией 1877–1878 гг. в защиту болгарских славян). Потом он поехал в Париж, где познакомился с неким русским по фамилии Чашников, который заронил в нем идею еврейского национального возрождения:

Я случайно столкнулся с «гойской головой», простодушным, непринужденным человеком, который видел вещи такими, как они есть, а не через преломленные лучи света, как их видят евреи диаспоры – люди с искривленными мозгами в чересчур умных головах (Ben-Yehuda 1986:66)

Под влиянием этого идеализированного русского Бен-Иегуда перенес свой националистический пыл с русского языка на иврит. Он не питал никакого уважения к ивриту ашкеназского религиозного мира, а, наоборот, восхищался любым, кто говорил хотя бы с легким намеком на сефардское произношение: писателем Иехиэлем-Михлом Пинесом, приехавшим в Иерусалим из Парижа; Гецлом Зеликовичем (1863–1926; впоследствии идишским поэтом и профессором семитологии в Филадельфии), привезшим этот акцент из путешествий по Востоку; евреями, которых Бен-Иегуда встречал во время собственного пребывания в Алжире; а позже представителями сефардской культурной прослойки, с которыми он познакомился за долгие годы в Иерусалиме. В своих мемуарах он описывает потрясение, которое он и его жена испытали, когда впервые приехали в Иерусалим и получили приглашение посетить дом издателя ивритской газеты Хавацелет: там говорили на идише и жену Бен-Иегуды попросили накрыть голову платком – в таком положении оказалась «молодая женщина, только что приехавшая из Европы, где она вела свободную жизнь, и у нее чудесные темные волосы» (Ben-Yehuda 1986:90)

Здесь противопоставляются европейская культура и индивидуальное достоинство и ограниченный «диаспорный» (т. е. ашкеназский) еврейский мир. Бен-Иегуда также стремился издавать «ивритскую политическую национальную [т. е. светскую] газету в европейском смысле этих слов» (90). Но идеал красоты он нашел в восточном мире. Даже на пути в Эрец Исраэль он восхищался пассажирами-арабами: «Высокие, сильные мужчины <...> Я ощущал, что они чувствуют себя гражданами страны», тогда как «я приехал в эту страну как чужак, иностранец» (84). Восхищение Востоком также распространялось на сефардских евреев:

Большинство людей из старого ишува [т. е. ашкеназим-ультраортодоксы] не были обычновенными человеческими существами, ведущими нормальную жизнь подобно всем остальным. Только сефардская община <...> была более или менее нормальной, поскольку большую часть

ее членов составляли простые люди, необразованные, добывавшие пропитание ремеслом и простым трудом. (95)

Далее он продолжает:

Почему я должен отрицать это? Лучшее, более приятное впечатление произвели на меня сефарды. Большинство из них держатся с достоинством, привлекательны, все прекрасно выглядят в своих восточных одеждах, манеры их почтены, поведение любезное, почти все говорили с владельцем Хавацелет на иврите, и язык их был свободным, естественным, с богатым запасом слов и речевых конструкций, а выговор у них такой оригинальный, такой приятный и восточный! (97)

Понятно, что язык был только частью негативного образа ашкеназим в его сознании, и он говорил об этом открыто:

У всех ашкеназских посетителей всех классов галутное выражение лица. Только старики <...> уже слегка «ассимилировались» с сефардами и выглядели чуть лучше. <...> Но и на их лицах отпечаталось клеймо диаспоры. (97)

В другом месте он восхищается:

Насколько сефардские евреи любят чистоту и как строго они соблюдают ее, даже в тайных закоулочках, в самых уединенных комнатах. <...> И конечно, весь домашний скарб и кухонная утварь так и сияют чистотой (106)

Бен-Иегуда осознает односторонний характер своих суждений:

«Я упомянул здесь эту деталь намеренно, потому что впоследствии она стала одной из причин, повлиявших на мои отношения с сефардами и ашкеназами» (107)

Хотя Бен-Иегуда знает, «что с научной точки зрения нет правильного или неправильного произношения» (205), он утверждает, что «диалект, которым пользуются западные [т. е. европейские] евреи, относится к позднему периоду, ко времени порчи и искажения языка» (212), и борется за «восточный диалект»: «Это тот диалект иврита, который жив в Эрец Исраэль, и любой, кто слышал его из уст молодого поколения, ошеломлен его красотой» (212). Но восхищение объединяет красоту и силу:

[Поскольку мы утеряли восточное звучание букв тет, айин, куф] мы лишили наш язык его силы и моци нашим презрением к эмфатическим согласным, и из-за этого весь язык стал мягким, слабым, лишенным той специфической силы, которую придает слову эмфатический согласный. (203)

Несмотря на принятие в школах сефардского произношения, Бен-Иегуда признавал его поверхностный характер и общий преобладающий вес ашкеназского наследия; он боялся, что, возможно, уже слишком поздно – ведь уже есть тысячи детей, говорящих на иврите, и их язык «такой невосточный, так обеднен по звучанию и силе по сравнению с восточным семитским языком!» (204). Действительно, когда в 1911 г. принялся за работу обновленный Комитет языка, видевший свою главную задачу в создании неологизмов, его члены решили выдвинуть на руководящие посты тех, «чье знание обоих языков, иврита и арабского, несомненно». Первый параграф Основных положений нового Комитета языка, написанных Бен-Иегудой, представленных Давидом Елиным и принятых Комитетом (опубликованы в 1912 г.), описывает «Функции Комитета» двумя пунктами:

1) подготовить язык иврит к использованию в качестве разговорного языка во всех сферах жизни <...>

2) сохранить восточный характер языка <...>

(Academy 1970:31)

Вывод такой: надо требовать изучения произношения на специальных занятиях у учителя арабского языка [sic!] В 1915 г. иерусалимский Комитет языка иврит постановил:

Обязать все школы Эрец Исраэль нанять специального учителя для обучения произношению и назначить на эту должность одного из алеппских мудрецов [т. е. не профессионального учителя и не члена ашкеназской общины, к которой принадлежали дети из новых поселений, а сирийского еврея, чьим родным языком был арабский! – Б.Х.].

(«Сефардское» произношение, которому было отдано предпочтение, на самом деле было произношением сирийских евреев; в городе Алеппо [Халеб] в Северной Сирии существовала влиятельная еврейская община.)

Бен-Иегуда, который противился заимствованию слов для нового иврита из несемитских языков, полагал, что лучше всего использовать все арабские корни для обогащения языка иврит. Поскольку Бен-Иегуда и Давид Елин располагали влиянием на нескольких учителей иврита, сефардское произношение в целом было принято, но восточная природа выговора, о которой они мечтали, слишком сильно противоречила всей ментальности и интонациям новых иммигрантов и так никогда и не укоренилась.

За исключением Бренера, крупные ивритские писатели поселились в Эрец Исраэль только после того, как большевистское правительство в 1921 г. наложило запрет на иврит, и многие из них сначала уехали в Западную Европу, а только потом в Эрец Исраэль. Например, поэт и критик Яаков Фихман пытался противостоять переходу на сефардское произношение в поэзии до середины тридцатых; блестящий лирик Яаков Штейнберг писал стихи на ашкеназском иврите до самой смерти (1947); Черниховский пошел на компромисс, написал несколько декларативных стихотворений и баллад на сефардском диалекте, а потом продолжал создавать крупные произведения на ашкеназском иврите; даже Шлёнский и Ури-Цви Гринберг, авангардистские поэты первопроходцев, упорно продолжали писать стихи с ашкеназским произношением до 1928 г. – хотя их читатели не говорили с этим произношением. Однако поэтесса Рахель, которая выучила иврит не в ходе религиозного образования, писала на простом, новом иврите, звучавшем вокруг нее, вплетая в этот язык слова из Библии, которую она читала с «сефардским» произношением. Было еще несколько таких поэтов. Один из них, Цви Шац, который еще из России вел переписку с Трумпельдором об основании сионистской коммуны, а впоследствии вместе с Й. Х. Бренером был убит арабами в Яффе в мае 1921 г., написал очерк «Изгнание нашей классической литературы», где поставил вопрос ребром:

Главная причина, которая не позволяет [ивритской] поэзии раствориться в нас, – это ее чуждое произношение; при всей ее красоте и глубине, она не зазвенит набатом в нашем сердце, ибо не из грубых земляных комьев нашей жизни вылеплена она и не из звуков нашей жизни, будь они суровыми или радостными. <...> Ценность этой поэзии подобна ценности поэзии, написанной на иностранном языке. (Shatz 1919:24).

Но он восхищается поэтами периода ренессанса и приходит к заключению: «Дай Бог, чтобы на наше произношение были переведены также и Шнеур, и Черниховский, и Бялик!..» – пожелание, не выполненное до сих пор.

Возникает такая картина: наш язык пионерский, грубый, сильный, мужской – подобно «мужским» рифмам, которые предполагает сефардское произношение; он противопоставлен мягким, «женским» рифмам, доминирующими в ашкеназской поэзии (как в итальянском). И лучшим примером этого является твердое, эмфатическое ударение на конце слов, энергично произносимых Бен-Гурионом, – будто он своей речью должен преодолеть противостоящую ему силу.

«Сефардское» произношение быстро распространилось в диаспоре, особенно в ивритских школах, находившихся под влиянием сионизма. Оно олицетворяло собой вызов, брошенный светским национализмом религиозной традиции. Эти школы должны были оторваться от религиозного мира с его традиционным ашкеназским произношением «святого языка». Но ашкеназское произношение и по сей день борется за свое положение и остается единственным

легитимным в глазах многих ортодоксальных иудеев диаспоры, что видно из английской транслитерации ивритских слов в газетных объявлениях, обращенных к ортодоксальной аудитории, в том числе обращения Любавичского ребе в «Нью-Йорк таймс», или из его длинных проповедей, которые произносятся на идише и содержат около 80 % слов на иврите в его гипертрофированно литовском ашкеназском произношении. Характерный случай был в период между мировыми войнами в Вильне, «литовском Иерусалиме», где удалось достигнуть компромисса со светскими гебраистами: существовала начальная школа на ашкеназском диалекте (называлась она соответственно **бейСЕЙфер аМОми**) и гимназия на «сефардском» (поэтому она называлась **тарБУТ, а не тарБЕС**).

Но здесь возникает неожиданная вещь: иврит, который в итоге был принят в качестве базового языка в Эрец Исраэль, – это далеко не сефардский иврит, а скорее неосознанно компромиссный общий знаменатель между двумя основными диалектами, сефардским и ашкеназским.

Те, кто внедрял ивритскую речь в социальных ячейках, были молодыми ашкеназскими евреями из Восточной Европы, которые ранее говорили на идише и прошли этапы увеличения строгости (призывы Жаботинского к «монотонности») и эстетизации речи. Эта группа в принципе приняла сефардское произношение, не имея активного контакта с ивритоязычными сефардами, и пропустила его через свои старые лингвистические навыки. На самом деле это был тяжелый переход на абсолютно новый язык: ведь человеку, который читал и писал на иврите, приходилось забывать про **кЕйсЕйс** или **кОйсОЙс** («стаканы» или «бокалы») и говорить **кОсОТ**; ударение сдвигалось, гласные сокращались и изменялись, а мягкое **с** на конце в израильском иврите переходит в твердое **т**. Резкость языка ощущалась во всегда ударных окончаниях большинства слов, обычно представляющих собой закрытые слоги.

Конечно, изменилась вся звуковая система, хотя в конечном итоге и **с**, и **т** – т. е. знакомые звуки – остались в языке (хотя **т** стало более распространенным, чем раньше). Как показал лингвист Хaim Бланк, в израильском иврите не появилось ни одного звука, которого не было в идише, кроме одного – гортанной смычки, но это не согласный, требующий произношения, а нулевой звук, пауза перед гласной: израильский носитель языка различает **лир'ОТ** («видеть») и **лиРОТ** («стрелять»), **мар'А** («зеркало») и **маРА** («желчный пузырь»), **ЦА'ар** («печаль») и **ЦАР** («царь»), **мэ'ИЛЬ** («пальто») и **МИЛЬ** («миля»). В ашкеназском диалекте здесь нет разницы, и оба слова в каждой из этих пар произносятся как второе из них (многие ашкеназские евреи, и в их числе премьер-министр Ицхак Шамир, не могут произнести гортанную смычку и до сих пор используют краткую форму в обоих случаях). Как показал в шестидесятые годы Хaim Бланк, выпускники средних школ восточного происхождения говорят так же, как ашкеназские выпускники, не обращая внимания на арабские гортанные и другие отличия в согласных. Возможно, в последние годы прослойка восточных евреев, произносящих гортанные **хет** и **айин**, увеличилась, но что касается прочих согласных, ашкеназский фильтр подействовал на всех образованных людей.

Однако в случае с гласными в израильском иврите, наоборот, с успехом действовал сефардский фильтр. Все библейские гласные произносятся с помощью пяти основных гласных – **а, э/е, и, о, у** – вместо восьми гласных и дифтонгов в ашкеназисе, десяти огласовок в каноническом библейском тексте (или семнадцати по-разному произносимых гласных в Словаре английского языка издательства «Рэндом Хаус»). Ашкеназские носители языка приняли эту минимальную «сефардскую» норму частично из-за ненависти к дифтонгам **ай, ой, ей**, символизирующими диаспорные притчания (**ой вей, ай-ай-ай, ой-ой-ой**), частично чтобы создать более сухую, деловую, рациональную и «монотонную» интонацию, а главным образом потому, что они приняли верховенство «чистого» сефардского языка без всякой задней мысли. В результате такого максимального сокращения в израильском иврите около половины гласных в среднем тексте составляют **а**; например, то, что в ашкеназском иврите произносится как **хазОке** (**а-О-е**), в сефард-

ском превращается в **хазакА** (а-а-А). Таким путем удалось достичь простоты, но было утеряно богатое разнообразие, та «культура языка», которая приучает говорящего к тонкостям и нюансам и служит основой для поэтической музыкальности. Еще хуже оказалось то, что большинство народа, включая даже поэтов, не знает, как правильно расставлять знаки огласовки, неотъемлемые в Библии и в поэзии, потому что различия гласных, сохранявшиеся в ашкеназском иврите,стерлись из израильской речи. (Большинство издательств нанимают специалиста-«огласователя» (накдан), который расставляет огласовки в поэтических текстах и в книгах для детей.)

Итак, израильский иврит объединяет набор ашкеназских согласных и сефардских гласных – в каждом случае это минимальный набор.

Аналогичный процесс произошел и с ударениями. Так называемое «сефардское» ударение полностью искусственное и никогда не использовалось в таком виде в живом разговорном языке. Что касается ритмического баланса в длинных словах, доминирующее в Библии ударение в конце слова оказывалось возможным там, где в середине слова существовала ритмическая вариация другого рода, а именно чередование долгих и кратких гласных. На самом деле именно это чередование долгих и кратких – в гораздо большей степени, чем ударение на последнем слоге, – лежало в основе размеров ивритской поэзии в средневековой Испании. Великий лингвист Роман Якобсон вывел общее правило для всех языков: когда в языке исчезает различие гласных по долготе, ударение переходит от краев слова к его середине. Но в ивритском произношении различие между долгими и краткими гласными под влиянием других языков исчезло во всех диалектах в то время, когда язык не был разговорным и естественные процессы в нем не происходили. В ашкеназском иврите, возможно из-за его сильной встроенности в разговорный идиш, произошел такой переход ударения на предпоследний слог. Но в искусственном «сефардском» (или, скорее, сирийском) чтении иврита обязательное ударение на последний слог сохранилось – что совсем не характерно для живого языка ладино или для сефардских баллад. В результате «сефардское» ударение часто падает на конец длинного слова из трех или даже четырех слогов, не имея ритмического баланса в середине, и, чтобы удержать все слово, необходимо строго выделять его в произношении.

Живой израильский язык принял эту искусственную норму для традиционных словоформ, но сбалансировал ее, сильно расширив группы слов с ударением на предпоследний слог: име-на собственные, эмоциональные и сленговые выражения и иностранные заимствования. Большинство личных имен просто произносят с ударением на предпоследнем слоге, даже если формальная модель предполагает ударение на последнем слоге: **ДАвид, САра, МеНАхем, МЕир** и даже **ИтАмар**, – хотя, если следовать Библии, ударение в них должно падать на последний слог. В использовании неивритских слов израильский иврит следует идишской модели, которая заимствовала большинство интернациональных слов с ударением на предпоследнем слоге и в женском роде: **гимНАсия, трапЕдия, коМЕдия, филарМОнит, симФОния** (хотя основной иностранный язык, который сейчас влияет на иврит, а именно английский, склонен к ударению на третьем слоге с конца: **TRAgedy, COmedy, SYMphony**). Аналогичная модель, истоки которой лежат в Восточной Европе, применяется к словам, напрямую заимствованным из западных языков: **телевИзия, каСЭта, экзистенциалИзм** (хотя во французском языке ударение падает на последний слог: **existentialISME**, а в английском – на четвертый с конца: **existENTialism**); и к таким прилагательным, как **баНАли, реАли, элеменТАри, попуЛЯри** (все эти слова отличаются от исходных английских **BAnal, POpular, eleMEntary**). Однако в иностранных словах, у которых в идише (как и в немецком) ударение падает на последний слог, в иврите оно переходит на третий с конца, как в русском: **поЛИтика, ФИзика, МУзыка, униВЕРситет** – положение ударения, практически неизвестное ивриту в других случаях.

Эта модель, возможно, пришла из языковых привычек иммигрантов из Восточной Европы. Но потом она стала продуктивным способом заимствования иностранных слов в иврите. Поскольку большинство этих слов с ударением на предпоследний слог заканчиваются на **а** и тем самым автоматически принадлежат к женскому роду, доля существительных женского рода в языке – без них весьма скромная – существенно увеличивается. Более того, с этими существительными согласуются прилагательные и глаголы, которые тоже приобретают женский род и ударение на предпоследнем слоге. В стихах и песнях язык часто смягчается и приобретает тенденцию к чередованию мужских и женских рифм; отсюда большое количество существительных женского рода, допускающих ударение на предпоследнем слоге, в поэзии и песнях: **оМЕрет – хозЕрет, оХЭвет – нилХЭвет, симлотЭйа – хиштаГЭа** и т. д. Женские модели также популярны в неологизмах, таких как **тайЭсет, ракЭвет, матКОнет, мишМЭрет** (эскадрилья, поезд, рецепт, смена). И вдобавок эмоциональный акцент может сдвигать ударение в слове к началу. Так, общее ощущение языка побуждает отказываться от сефардского ударения на последний слог.

Это не просто вопрос фонетики, он придает специфический характер израильской речи и носителям израильского иврита. И кроме того, это основная модель всего возрождения в Эрец Израэль: идеологическое решение и энергичное насаждение новой модели поведения, радикально отличающейся от диаспорного прошлого, сопровождается подтекстом старого поведения, которое со временем проявляется вновь – еврейское появляется из-под ивритского.

## Занятие 4. Языки Иерусалима в подмандатной Палестине и государстве Израиль (с 1922 до сегодняшнего дня)

### Текст №1

Признание статуса иврита как один из трех официальных языков Подмандатной Палестины (1922)

#### **The Palestine Mandate**

##### **The Council of the League of Nations:**

Whereas the Principal Allied Powers have agreed, for the purpose of giving effect to the provisions of Article 22 of the Covenant of the League of Nations, to entrust to a Mandatory selected by the said Powers the administration of the territory of Palestine, which formerly belonged to the Turkish Empire, within such boundaries as may be fixed by them; and

Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2<sup>nd</sup>, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favor of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country; and

Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country; and

Whereas the Principal Allied Powers have selected His Britannic Majesty as the Mandatory for Palestine; and

Whereas the mandate in respect of Palestine has been formulated in the following terms and submitted to the Council of the League for approval; and

Whereas His Britannic Majesty has accepted the mandate in respect of Palestine and undertaken to exercise it on behalf of the League of Nations in conformity with the following provisions; and

Whereas by the afore-mentioned Article 22 (paragraph 8), it is provided that the degree of authority, control or administration to be exercised by the Mandatory, not having been previously agreed upon by the Members of the League, shall be explicitly defined by the Council of the League Of Nations;

confirming the said Mandate, defines its terms as follows:

(...)

#### **ART. 22.**

English, Arabic and Hebrew shall be the official languages of Palestine. Any statement or inscription in Arabic on stamps or money in Palestine shall be repeated in Hebrew and any statement or inscription in Hebrew shall be repeated in Arabic.

#### **ART. 23.**

The Administration of Palestine shall recognise the holy days of the respective communities in Palestine as legal days of rest for the members of such communities.

## Текст №2

Вы знаете, кто я такой?

Знаете ли вы?

Я не сионист в фраке,

И тоже не буржуй.

Я также не социалист,

и не британский солдат.

Знаете ли вы, кто я такой?

– Я из батальона защитников языка.

Еврей, говори на иврите!

На языке твоего народа и твоей страны!

Еврей, вспомни постоянно,

что иврит, это твой язык!

У нас нету партий,

и также нет планов.

Мы соединенные

Чтобы бороться на всех фронтах.

Идите за мною, идите,

Будущее наше.

Ведь наш пароль:

Еврей, говори на иврите!

Еврей, говори на иврите!

Мы евреи! Это всем известно.

Если бы мы не существовали,

Не существовал бы свет!

Иврит, наш язык,

Мы им гордимся,

И на наших противниках

Нам наплевать!

התְּקַעַו מֵאָנְכִי?

התְּקַעַו מֵאָנִי?

אֵין אָנִי פֶּרְקָצִיּוֹן

וְאֶפְ לֹא בְּרָגְנִי,

וְגַם לֹא מַופֵּס הַנְּנִי,

וְגַם לֹא אִישׁ אָבָא;

התְּקַעַו מֵאָנְכִי?

מְגַדּוֹד מְגַנִּי הַשְּׂפָה!

יְהוּדִי, דָּבָר עֲבָרִית,

שְׁפָת עַמָּךְ וְאֶרְצָךְ!

יְהוּדִי, זָכֵר תִּמְידִים!

כִּי עֲבָרִית הִיא שְׁפָתְךָ!

מְפֻלְגֹּות אֵין לְנוּ;

אֵין גַם תְּכִנִּיות,

מְאַחֲדִים אַנְחָנוּ

עַל כָּל הַקּוֹחִיתָות.

בּוֹאוּ, אַחֲרִי, בּוֹאוּ,

שְׁלַנּוּ הַעֲתִידִים

כִּי סִיסְמָתָנוּ:

יְהוּדִי, דָּבָר עֲבָרִית!

יְהוּדִי, דָּבָר עֲבָרִית...;

יְהוּדִים אַנְחָנוּ;

זִדּוּעַ לְכָלָם,

בְּלַעֲדֵינוּ אָנוּ -

לֹא יַתְקִים עַזְלָם!

עֲבָרִית הִיא שְׁפָתֵנוּ

בָּה אָנוּ דּוֹגְלִים

עַל כָּל מְתִנְגָּדִינוּ

אָנוּ מְצַפְּאִים!

יְהוּדִי, דָּבָר עֲבָרִית...;

## Текст №3

“How German built the Hebrew language?”, Haaretz, 17/02/2010

When an Israeli gets out of bed on a dark morning, she will flick on a light *Schalter* (switch in English) and wash down a *Biss* (bite) of toast with a *Schluck* (sip) of coffee – all Hebrew words that stem from the German language.

After breakfast, an Israeli driving to work must occasionally using the car’s *Winker* (from German word *Blinker*, or indicator) or the *Wischer* (windscreen wiper) if it rains.

Many words in Hebrew entered the language through German immigrants who arrived in Israel in the last century.

Israeli linguist and journalist Ruvik Rosenthal distinguishes between words that originated directly from German and those that found their way into Hebrew from Yiddish, a German dialect once spoken in Jewish ghettos across Central and Eastern Europe.

"It's mainly in the worlds of construction, engineering science and architecture that almost all (Hebrew) words have their origins in German," says 64-year-old Rosenthal, whose own parents came from Germany.

The vocabulary arrived in Israel particularly during the Fifth Aliyah, or wave of immigrants, in the 1930s when German Jews fled persecution under the Nazis.

Yiddish developed as a fusion of medieval German dialects with Hebrew, Slavic and other languages, a reflection of the migrating Jewish diaspora. The German words that have filled gaps in Hebrew are a result of the migration of Jews from Europe into what became modern Israel.

An Israeli who works on a building site may use a Spachtel (German for trowel) or will cover an exterior with Spritz (plaster, literal meaning spray). An Israeli construction worker will use German words such as Isolierband (duct tape), Beton (concrete), Gummi (rubber), Dibel (from the German word Dübel for dowel), Leiste (ledge) and Schieber (slide).

Many technical terms in Hebrew such as Schnurgerist and Stichmass, however, are not familiar to the majority of native German speakers.

An Israeli electrician will talk about Erdung and Kurzschluss (grounding and short circuit) but with a strong Hebrew accent. A German would not need a dictionary if visiting a mechanic in Israel as almost every term would be familiar. Even Arab-Israeli mechanics use German words such as Kupplung, Kugellager and Drucklager to refer to car parts.

German Jews played a major role in the organization of Israel's educational system, which accounts for the many German words found in Israel's schools and universities. Small children go to Gan Jeladim (derived from Kindergarten), and students are taught the Spagat (the split) in gymnastics.

In summer, a child will offer a friend a Leck (lick) of her ice cream, and if she gets her clothes dirty, the girl may hear a Fuyah (derived from Pfui, the German expression for yuck) from her mother.

Elderly Israelis need an afternoon snooze called a Schlafstunde (sleep hour) to get back in the swing of things (in Schwung) and keep them gesunt (healthy). They may develop a condition that has a German name such as Hexenschuss (a slipped disk) or Plattfuss (flat feet). A doctor will write out a Rezept (prescription) for a minor ailment.

"Most Israelis are not aware that many Hebrew words are German in origin," explains Rosenthal. Even the at sign (@) used in email addresses has a German name in Hebrew: Strudel. An Israeli engineer gave the symbol this name in the 1960s because it reminded him of the traditional Viennese Strudel dessert.

Rosenthal, who has drafted several dictionaries that document the German component in modern Hebrew, says that as many as 300 German words are used in everyday speech in Hebrew, aside from the several hundred words that have their origin in Yiddish.

A century ago, German was so dominant as an international language of science that it almost set off a "war of languages" among Jews living in the former Palestine.

The German Jewish aid agency Deutscher Juden decided in 1913 to use German as the official language in the first technical high school for Jewish immigrants in Palestine. This sparked a wave of anger among Zionists who considered Hebrew to be the language of the Jewish people in their home country. Pressure from the school's donors lead to the decision to teach through Hebrew even though the biblical language had a very limited range of technical terms in its vocabulary.

Even today, visitors to Israel will be hard pressed to avoid the German language's influence on the country's streets.

## Текст №4

Идишизмы, аравизмы и вульгаризмы в современном иврите: Давид Гроссман, Книга интимной грамматики, глава 1

אהרון התורם על בהונתו, להיטיב לראות את המתרחש למטה, את אביו ואמו יוצאים לנשום קצת אויר בסופו של יום השרב. קטנים כל-כך مكان. טעם אבך התריס על שפטיו ובאפו. עניינו מבריקות. לא יפה להסתכל עליהם ככה. איך ככה. מלמעלה. הם ממש זעירים مكان. כמו שתי בנות. אחת גדולה ושמנה ואיתית, והשנייה קטנה וכולת מחוודת. לא יפה ככה. אבל גם מצחיק. ומה שמצחיק גם מפחיד קצת. ובעיקר מרגיז שגם צחי וגדעון, לידו, רואים אותם ככה. אבל להינתק מן המראה הוא לא יכול. **יאלה,** בואו כבר, רוטן צחי, אף העבה פחוס אל התריס, ההיא תיכף תחזור ואז זה הסוף שלנופה. התסתכלו, לחש אהרון, הנה גם גרוושוחצי יוצאים. הוא עוד מעט ימות, אמר גدعון, תראו כמה הוא צחוב, קמינר, אפילו מפה רואים שהוא ימות.

اما ואבא עמדו לדבר עם אסתר ואביגדור קמינר מכניתה א'. אל תהאלו איזה עינויים זה,ナンחה אסתר קמינר. עז התאננה הענק שעל המדרכה הסתר וגילתה אותם חליפות, והשicha הגעה שבורה לחילון הקומה השלישית. בנס הוא חי, אמרה והנעה את ראשה, שהגיע עד להזוזו של בעלה הגבו, ומما ציקצתה בלשונה ואומרה, רק לא ליפול בידיהם שלהם, הרוי הם צרייכם אותן רוק בשביל להתלמד לדיפולמה שלהם, ובניתים חותמים אותו להתיוכות קטנות: ואביגדור קמינר הקיפה, שראשו כפוף תמיד, עמד מן הצד ושתק, ובפניהם חותמים הביט באשותו הפטנטית, ברגלו העבות של אבא שהמנכensis הקצרים מתפקעים עלייהן, בטור של נמלים גוררות חיפוית הפהoca – וכמה שכל זה יקר, קוננה אסתר קמינר, כל התroxות והדייאטות וזה שציריך לנסוע בטאקסיס-ספיישל אחרי הדיאליה: נדמה לי שלקמינר'קה כבר אין סבלנות לחוכות שבעליה ימות, אמרה אמא לאבא כשהמשיכו בדרכם, אהרון ראה את שפתיה נעות וידעו שהוא שאמירה, הוא כבר עולה לה יותר מדי, ואפשר לחשוב מי מהכח לה בתור אחריו, הרוי חזץ מכל הנדוניות שיש לה מזמן, כתע גם השיער שלה נושר לגמרי, וכמה שהיא לא עושה הלואה-ויחי סכון כבר רואים לה החתיות שלמות מהראש. אבא תמיד מהנהן כשהיא מדברת, ווגם אחרי שהיא משתתקת, ועכשו הוא רוקן לסלך משחו מהמדרכה, עיתון ישן או קליפה של פרי, קשה לראות مكان, ומما עומדת זקופה, מסתכלת בו. רק אל תיגע בי בידים מהטהינופת הזאת, בודאי אמרה לו, כי הגב שלה השתמט מן היד שלו, ותסתכל מי בא. אהרון ראה את החיקוק החמור על שפהיה, נראה אם בכלל יגיד לנו שלום הנסוב, שלום אדון טרשנוב, מה שלום הגברת? הנה אבא שלך בא, אמר אהרון בלי גoon בקולו. **יאלה,** בואו נלך מפה, לא מש גדעון מן התריס: אביו. לבוש בהידור, כדרכו. מנכensis טרילין ועניבה גם בשרב הזה. בהילוכו המركך מעט עבר ליד אבא ואמא, הינהן, פיו הקטן הבשרני, הקפוץ תמיד, התעקם לרגע בהבעה של רתיעה, זה השלום שלו, לא נאה לו, אבל אבא נדחף לפתח לעכב אותו מעט, "חוורדים מהזה..." מהאוניברסיטה? ואביו של גדעון עיווה שוב את שפתיו, אני הולך, אני הולך, לחש גדעון לעצמו בלי קויל, ההבעה הזה הקיימה אצל אביו כל דבר, כמו כיהכמה של נפש מרירה, הוא הימם משחו כלפי אבא ואמא, ונפנה לכלכת: אפילו בשביל לאוורך Katz – הה! אה! – הוא לא פותח את הפה שלו, הדוקטור, הטיליגננט, שגורש הוא לא מביא הבית, ואשתו צריכה לשבור את האצבועות בהדפסות, רטנה אמא בלב, אבל בירכה את מר טרשנוב לשלם בנימוס ובמורפנים, נסoga מעט, כאילו מפני צינה שלילוותה אותו.

"אריך, תזכיר שאמרת לי שציריך להסתלק", אמר גדעון ורחק מן התריס. "אבל עוד לא ראיינו כלום", לחש אהרון, "מה נבהירתם לי שנייכם?" צחי וגדעון הביטו זה בזה. "שמע, אריך", התחיל גדעון בזעף, מביט אל קצוות סנדליו, "האמת היא... כבר רציתי להגיד לך קודם, לפני שנכננסנו – "לא עכשיו!" התקצף אהרון ופנוי הקטנים, מה Hoddi התווים, האדים, "עכשיו נעשה לבדוק כמו שהשכנו!" והוא חזר ופסע לתוך החדר, שעתה נראה מופלא אף יותר, וצחי וגדעון צעדו אהרוו באידרzon, אבל גם הם שבו ונככשו בנדרגע לאותה נשימה חרישית של הדירה הגנובה, ובודומיה פסעו על השטיחים והשטיוחונים הרכים שנימרו את הריצפה, החלפו בצדיד-גוף ליד הלוייתן השחור – הפנסטר הקודר שמילך על הسؤالן כלו בלסתות פערות! מי היה יכול לשער שבלב השיכון שלהם, בין הדירות הצפופות, המהבילות נזיד, צפה לה חרש קוביית-קרח כחללה שכזו. אהרון הצבע באצבע זיהירה על שלושת הcoresים הדקים, השנוגבים, שהיו על מדף של כוננית הספרים, ואחר-כך התעכבר מול קבוצה של פסלי עץ קטנים, שניצבו יהדו, כמו קהיליה-ה-לעיצה, על שידה בפינת החדר: גברים ונשים עירומים או חזים ידים תוך ריקוד, נער יושב ומשעין את סנטרו על ידו, טורסו שכלו חומות נשיים – והירהר בגיטהה שלו, שכבר חזי שנה שוכבת במרתיק, סדока ומיתריה קרועים: הוא לימד את עצמו לנגן, הוא ניגן יפה כל-כך, יוכי אהותו אמא ריש שיעש לו בעיניהם אוור של זהב כשהוא מגנן. כתעת הם לא רוצים לknoot לו חדשה, ועוד הבר-מיוצאה יש לו עוד שנה וחצי, וגם אז יש להם תוכניות אחרות בשביבו. ברוגז פסע לאורך הקירות, עצר, וידיו על מותניו, מול תמונה גדולת, טירה יצוקה על גוש אבן וצונחת אותו אל תוך ים, גם כן צויריים יש לה זאת, שום דבר אי אפשר להבין בציורים אלה, הימם ושיילוב את עצמו, התסתכלו על זה, כאילו איזה לא-נורמלי ציריך לה אותם. גדעון הבליע באידרzon שאבא שלו קורא זהה, يعني, אמנות מודרנית,

ואחרון דימה לשמו את צמד המלים בפי אביו של גدعון, איך הוא בוקעתה דרך השפטים ההן, היחי לوكה פטיש ומפוץץ את התמנות האלה עם הקירות, התגעש פתאום ושני חבירו הביטו בו, סתום מרמים את הבָנָקֶם, סתום! אומרים שזה אמןות זהה רמאות! וכשהרגיש בתוכו איזה צליל חלול, לא מכוון, בעט לחיזוק דבריו באחד הפלגיהם, ונסוג בהלה: נדמה לו שהפנסטר נוהם באזורה.

או באוו נסתלק, התלונן צחי ביבבה, כבר ראיינו מספיק: לא ראיינו כלום ועוד אין לנו הוכחה, השיב אהרון בלי לשעות אליו: זה סתום שטויות מה שאתה אומר שאין לה צל, המשיך צחי בקהל הגדוני; בטח אין לה צל, אמר אהרון בפייזר-דעת, מתבונן בספרים שהיו על מדפי הספריה, כרכימים גדולים ושמנים, כתובים אנגלי. עובדה שאף פעמי לא ראיינו אותה בעלי שימושה בקייז ומטירה בחורף, עובדה שבתצפויות היא הלכה רק לאורך צל של בתים וגדירות או עצים, ככה היא מarma את כלום: צחי נחר ברוגז, מחדש מרجل לרجل ומצמידן זו לזו במצבה. פניו הגודלים, כתפוח-אדמה קלוף שנקבעו בו עיני חרוז שחרוזות, הפיקו רוגזו ואיבה לאהרון. הוא צעד אל התריס וקבע את עיניו בין החזוקים, ונרתע.

אהרון, שהחש בתנוונו, מיהר להבטית. למטה, מבין עלי התאנא, גח ויצא גבר שמנמן, רפוס מראה, ובחן את סביבותיו. גדעון קרוב אף הוא אל התריס. האיש פסע אל מכוניות פיאט זעירה וירוקה ופישפש בכיסיו אחר המפתחות. אפילו שהיתה זו הפעם הראשונה שאהרון ראה אותו, ידע מיד מי הוא והשיך לבו עמוק. כשהיה בן עשר שמע בפעם הראשונה שהוא של צח, מלכה סְמִיטָנָקָה, יש מישחו מהצד. ביום הים עקב אחריה בחשאי, והבטית בה בתשומת-לב בכל פעם שיצאה מהבית, ולא ראה שיש לה מישחו מהצד. הוא סידר את הגורת מכנסיו, החליק על שערו הדليل ונכנס למכונית. השפטים של צח מילמלו כל העת, אולי קילל, אולי צעק בלב עד אפריקה לאבא שלו, שיעזוב שם מיד את הבילדז'ור, שהוא עובד עליו בשביל 'מקורות' ויחזור **בשיא הספיד** הביתה. שלושתם לאzzo מן החלון גם לאחר שהמכונית נסעה לדרכה, ואהרון חש קמיטה של צער על שגם גדעון ראה את ההוא-הצד, כי ידע כמה גדעון יבשין ואצלוי בעניינים האלה, אף פעמי לא דיברו ביניהם על הדברים הגוף, וכשבצחי היה מקלל, או מספר את הבדיקות שלו, צחקו גדעון ואהרון בנימוס ולא הביטו זה זהה. דקה עברה, ואולי עוד אחת, וудין עמדו שם, חוששים לשגות בתנוועה לא נוכנה או בדיור, עד שאמא של צח יצא למסדרת את החלוק שלו, וקראה לצח לבוא לאכול. קולה היה צרוד מעת וממר. היא מאכילה את הילד צהרים בחמש בערב, אמרהAMA כשלפה על פניה היפואטי הירוקה, לב-מיוצאה אני לא מזמין אותה, חסר לי שהיא תלחץ לי את היד ישר מהhoa. היא קוראת לך, אמר אהרון בשקט. לא עניין, נהם צח, אני לא רעב, בואו נחפש עוז.

עוד כמה רגעים שוטטו בלי קול בחדר-האורחים האפלולי של עדנה בלום, נוגעים-לא-נוגעים, ואחר-כך, כאילו לא בכוונה, שלושה דגיגים בשיכולות הנהר, החלו לנכנים לכוחו ייקתו של המסדרון הצר שלו, נמשכים בו לאורכו עד לחדר-השינה שלה, נפוצים בתוכו בדממה, שולחים נגיעות חטפות במיטה המוצעת בקפידה, במראה העגולה, בשולחן הטואלטה המעורר, בכior העזיר שהותקן שם בחדר... גרב נילון ארוך נח ברפין על כסא עגלג. צח הביט בגדעון וגדעון הביט בצתח, ואיזו בהרת אדמומה עברה לאורך פני שנייהם, אבל אהרון לא ראה דבר מכל אלה ולא נגע בכלום, כי הוכרע מיד כליל תחת תמונה ענקית, שהתמכסה כסיפור-מעשה מסובך לרווח הצח קיר. צח רמז לגדעון, **'סתכל אותו'**, וגדעון העיף מבט בתמונה ובאהרון, ומיהר אליו ומשך בידו, בוא, אריק, אתה מסתובך שאתה נשאר פה, ואהרון ניער מעליו את ידו ברישול, ועמד ובהה בסוס הנעקד לאחרו בתמונה. הוא הרגיש איך שלא מרצונו גם שפטיו שלו נפשלות מעלה שנינו במאזן הנשימה הנעתקת: זה סתום, זה אמןות מודרנית: אבל עיניו כמעט יצאו מוחוריין עם עיני הסוס הנחנק, כמו שטובע אולי מבין שעיניהם כולם נשפַּך

לתוכו, הבין את התמונה הגדולה. תראה אותו, את אריק, איך שהוא נשתל שם. אריק, אריק, אבל מבטו הרחוב לאט, במאזן, ועתה ראה גם את האיש השוכב מת למרגלות הסוס, ידו אוחזת בחרב ופיו פעור בזעקה: ראה את דמות הפה, שעיניו אין נמצאות במקום הנכוון, ובכל-זאת, הן היו נוכנות יותר מן העיניים של הטעbie: אה-ריך ראה את רצוצי הגוף, ולבי-סוף מצא גם את האשאה, הוא הרגיש שהיא שם עוד לפני שראתה אותה, נהרת, נשאת לפיד. לרגע אחד עוד ניסה לגונן על עצמו, מפני מה, מסתם ציר, מסתם ציר, הוא צעד בכבדות לאחור, יצא מן החדר בפסיעות קופאות, איפה הם שניהם, איך בrhoו והשאיו אותו בלבד שם, והוא עזמו שוב מול התמונה, והזר ושקע לתוכה, שום דבר מה לא כמו שציר-ץיך להיות. אפילו אני יודע לציר פרצופים ואנשים וסוסים יותר נוכנים. אך מראה טרי היבח בולהרף-עין – איש קיפח, ידיו שמוטות, עומד כפוף, כאילו מקופל בקצתה כמו דף של אtamol ביוומן-שנה, מביט מן הצד. אפילו שור אני יכול לציר יותר טוב אחריו כל הפרות שהעתקתי מהירוקה. אבל דמעות ניקו עניין, איטיות, שגמלו, אולי, בשקד מעות נפרד ומוצנע. מה קורה לך, טמבל, מה אתה בוכה כמו ילדה. אני לא בוכה. אם אבא היה רואה אותך עכשו. כן כן, אני יודע. הוא היה עונה לך את הנחירה ההיא. שיעשה. הוא היה אומר לאמא, שיגיד, אהרון עוד יהיה לנו א-מן! טיליגאנאט!

גדעון קרא לו בקוצר-דרוח מן הדלת. כבר איינו יכול לסייע את השהייה בבית הזה. אהרון לא השיב. אין-אונונים תהה מבטו של גדעון על פניו הsslון האפלולי, נתקע לרגע בקונכיה גדולה, ורודה, שפטנית, שהיתה מונחת על השידה, מאיפה היא קנתה את כל הגועל-נפש האלה, בלבו נהם אל אהרון שיבוא כבר, יתפסו אותנו, כמעט ברה, עצר, החזיר מבטו בתמונהן אל הקונכיה שנראתה לו לפתע כיצור חי שהושק שפטיו בקושי סביב משחו השroi בחשיבה בתוכו, "הлечתי", צעק בלבו ויצא ממש

במהירות, מدلג שלוש-שלוש במדרגות, צהי מיהר אחריו, מתנער מן המועקה שעוררה בו הדירה של הזולמנית הזאת עם התמונות שלה והרהיטים שלה, שנראים כאלו זובע עשה אותם, ושניהם יודעים שתיכף יחתפו منها מהרין על הפרת ההוראות.

אבל אהרון נשאר. בזיהירות ניער אחד מכדרוי הזכוכית שלה, שלג חרישי ירד על מטפס-הרים בודד ועצוב, ואהרון השתחה לידו עד ששככה הסופה. על מדף ארוך, ליד דלת הכנסה, ניצבו בובות מהודרות, לבושים בגדים לאומיים, בובות אלה יש גם אצל שיקק ואייך שנסועים הרבה לחו"ל, אבל פה הייתה תרוככה שלמה, חיילים גנדננים מיוון ומסקוטלאנד ושוודרי המלכה מאנגליה, ושוטרים מטורכיה ומצרפת, צבא ביגלאומי; ומדי פעם, כאלו במקורה, היה חזר אל התמונה. עומדת לפניה פשוט ידים, בעיניהם פקוחות, בעיניהם עצומות, עם הפנים, עם הגב, מוסר את עצמו, וכשהרגיש שזה כבר עד לעיניים מגיע, היה נסוג בתנועות מיוחדות, כאלו הוא רוקד ויוצא לרגע מבימה גדולה ומוארת, והולך קצת בחדרים האחרים, תועה שם, אובך, ברדס, מרגל, נתקל בעצמו במראה, מתגרך, כל העור עוקץ לו מהתמונה, מעיף מבט מהזרי כתפו, פתאום היה לו הרגשה שהיא יודה לה מה הקיר ובאה אחריו, וכشمסתכלים כאן, למטה, רואים פרה צומה מהרב שבורה בידו של אחד המתים, וגם, שהתמונה בעצם מלאה עיניים, ומהר להתרחק, ושוב כל הגוף עוקץ.

הבית של עדנה בלום היה לו טהור. תסתכל על הפאנלים שלה, אמא רוקחת בתוכו, תסתכל איזה אבק בכל מקום, בשכונת מוסררה היו מתבושים ככה. אבל האבק שכאן נראה לו קמח כוכבי דק, שנח על בית מכושף שבוי בתרדמה, עד שיבוא אביר ויבקע את הדמיה הזאת, ואז – אהרון הczטמר, חיבק את עצמו בזרועותיו.

לפני המקרר עצר לרגע. היסס. הרי מקרר זה לא ארון שפותחים וסגורים מאה פעם ביום. אם אתה צריך משהו – תבקש ממנו. חזק אחז בידית ופתח, וננדם. מקרר רעב, דבר אליו קוללה החד: מקרר של צמחונים. מיטה של רוזקה. איך אפשר ככה. איך באמת אפשר, הרגיש בכל נמי נפשו, איך ככה, ריק, לבן, ואיפה הבשר והעופות והביצים ובקבוקי החלב, ואיפה הננקיקים והירקות והפירות, ואפילו התרופות ובדיקות הצואה, ופה – כלום. כמה מלפפונים צנומים ועגבניות קטנות. צינצנת' – שמנת ובקוק חלב. ותפוח עטוף במפית. וגבינה רזה. ובכל-זאת – דוקא יפה. טהור. והוא עמד ובהה מול המקרר, ורצה לדעת עוד, עוד: ללמד את השפה הזאת, הנזירית, שמסתפקת ברמז. אתה שוכח את עצמן. היא תחוור ותתפס אותך פה: היא לא תעשה לי כלום. אביר שלו, סוף-סוף בא. משחו הczטאל בו. אפילו מיהר לשירותים והשתין שם ברוחה, ופתאום ידע שבמקום הזה אולי ירשוה לעצמו גם להרבנן בלי חשש, מי יודע, וכי לנצח את ההרגשה שלישאל את מכנסיו וישב רגע, מתמקם ומתענדן לו, מניע בהזדווגו את רגליו הכרוכות במכנסיים הקצרים, והיתה עוד תמונה קטנה, מודבקת לדלת שם, שור כורע בזירה ואשה אחת מהקהל מלפטאותו, כן, פה הוא יכול בקלות, פה הוא יזרום ויזרום. אחריך הוריך את המים באדנות, מתענג על שוף המים באסלה בלי להחשוש שככל מני גועל-נפש יצוץ לו ממש.

לפני שיצא, ניגש לחلون והבט שיב דרך התריס, ראה את אבא ואמא הזרים מטילו הערב, תיקיף יעלמו מתחתיו. והנה, כשכבר עמדו בתוך עץ התאנה, היא באה מולם, עדנה בלום, תברח, דקיקה, נערית, שערת הצהbab, הפלומתי, מבעד לעלי התאנה, זה הסוף שלך, עוד רגע, נראה אם יש לי עצבים, ערביתוב גברת בלום, ערביתוב גברת קלינפלד ואdon קליינפלד, את נראית עייפה, גברת בלום, את עובדת יותר מדי קשה, ככה זה, הרי צריך להתרנס, גברת קלינפלד, אבל תראי איך את חיוורת, ראית איך היא נהיתה אדומה כשהסתכלה עלייך; זה הכל רק בראש שלך, הינדהילה, איפה אני ואיפה היא; את צריכה לעשות לך חיים יותר קלים, גברת בלום, הרי את עוד צעריה והכל החיים שלך לפנייך, היא תיקוף תאחר את הרכבת! היא עוד צערונות, הינדהילה! את הדברים האלה אתה תשאיר לי להחליט, משה, אולי אתה רואה אותה צערונית, אבל אני הרי מסתכלת אצלם בשינויים, ושינויים לאמשקרים, והיא שלושים-זשונה לכל הפחות: אולי היא בכלל לא רוצה חתונה וגרבים: לא רוצה? ראית איך הסתכלת עלייך, איך בלעה אותך בעיניים בלי בושה, ועוד עושה את עצמה לעמצע, כל רגע נראית כאלו הולכת להתעלף פשי פשי, או ערביתוב, גברת בלום, ובאמת תשמרי קצת על עצמן, חביל כהה: כן, את צודקת, נכוון, וערביתוב גם לכם: והיא נפרדה מעליהם, הוא ראה אותה מלמעלה, רוזקה, ענוגה, עטת יש לו רביע דקה בדוק לצתת ולנעול בפתחה-הגבנים שלן, אבל איך הוא יכול להתפקיד מלהabit בה עד הרגע אהרון ואפילו אחריו זה, הנה היא נכנסת אל הדר-המדרגות, הנה היא עולה לקומה ראשונה, תברחה. חכה.

כי אהרי שנפרדה מאמא ואבא היא הערימה עליהם, בפירוש הערימה: לא עלתה מיד הביתה, המתינה כנראה במבואה הדר-המדרגות עד שעברו על פניה והתרחקו אל הכנסה השניה, ואז חזרה בצד זהיר, פחוני, ציפורין, לב אהרון עלץ, גם היא משחקת מישחק, גם לה יש סודות, ועמדו רגע ליד עץ התאנה הגדול, הענף, פשוטה ידים, נותנת את עצמה לעין, כלתו הילדה, שאפה לתוכה את ניחוחו המתקתק, ועצמה עיניים ופקחה עיניים, והניחה יד דקה על גוזו העבה. אבל פתאום נרעדה. אבא היה לידה. הוא חזר. איך הרגיש. בזיהירות קרב וניצב לצדיה. עבה ומוגדל ממנה פי שניים. שור ואנפה. ואיפה אמא. עלי התאנה הרחבים צעו וכיסו מעט וגילו מעט. משה? נשמעה קרייה מרחוק. כתפי אבא נשתרגו וצוואוו נסוג לתוכן. אחר הררים ידו ובעדינותו נגע באחד הענפים. ענן של הרקם הטעוף והתרסל באוויר. עדנה נרתעה. אבא לא הבית בה. והירח הור משונה חלף באהרון, שאם אבא היה נכנס לכואן, לדירה הזאת, היא הייתה מתבקעת סביבו. משה, צעה אמא שכבר עמדה

בחדיד-המדרגות, המפתח בידה, לאיפה הלכת? "תסתכלי פה, גברת בלום", אמר אבא בהשתאות, והעלים רישרו את דבריו עד לחלון הקומה השלישית, "אני כבר קודם היתה לי הרגשה. "אייזו הרגשה, אדון קליינפלד? " היא היתה מעט את ראשונה, אבל לא הביטה בו. רדייך דק האדים בבת-אחת על עורפה הצהור, ורוק אהרון ראה. "העץ חולה", אמר אבא בפשטות. עדיין לא הביטו זה בזה ודייבורו דרך העץ. "התאננה של'י חולה?" לחשה עדנה בלום בפeliaה ובצער. והרי העץ הוא של כולם, של השיכון.

כשהזורה אמא כעbor כמה רגעים, ראתה את שלושת הילדים ואת עדנה בלום עומדים ליד התאננה. די היה לה במבט אחד. משחו עכור סבב על קרקעית עיניה. פנעה כה-זוכה ולא ראתה את אבא. אז נשאה פניה כלפי מעלה וגילתה את קריסטליות העבים והאדמדמים משתרבבים מבין הענפים בcupcapi הפלסטיκ השחורים. ברוגז עצור קראה בשמו. ענפים ועלים צעו ורגשו, וראשו הגדול, המשמי, הפציע: "אל תשאל מה יש פה, **אמא'לה**", אמר ליה, "כל העץ פצעים, צריך לנוקות לו." היא קפיצה שפתיה. היזקה את צווארון חליצתה אל גרגורתה. בתוועה חזה, כמו שמקפל אולר, סבה על עקיביה, ועלתה הביתה.

David Grossman, *The Book of Intimate Grammar*, trans. Betsy Rosenberg

## 1

Aron is standing on tiptoe for a better view of the street below, where Mama and Papa have just stepped out to breathe some fresh air at the end of a long hot day. They look so small from here. He can taste the dusty metal of the blinds on his lips. His eyes glow. It isn't nice to watch like this. From above. They almost seem like dolls down there, a slow tubby one and a little snippety one. It isn't nice to watch, but it is kind of funny, and kind of scary maybe. The trouble is, Zacky and Gideon see them too. Still, he can't tear himself away. **Y'all**, let's go, grumbles Zacky, his nose squashed flat against the blinds. If What's-her-name turns up now we're history. Hey, whispers Aron, here come the Kaminers. Old man Kaminer is going to die, says Gideon. See how yellow he is? You can tell.

Mama and Papa stopped to talk to the Kaminers from Entrance A. They flickered in and out of sight behind the spreading fig tree. Don't ask, sighed Esther Kaminer. Snatches of conversation drifted up to the fourth-floor window. Poor Avigdor – she shook her head – it's a miracle he's still alive, and Mama clucked her tongue: God help anyone who falls into a doctor's clutches. They chop you to pieces for diploma practice. Avigdor Kaminer, slouching as usual, stared blankly at his chattering wife. And you wouldn't believe what it's costing, she moaned, what with the medication and the dietetic food, and a **taxis** home every time after the dialysis. If you ask me, said Mama as she and Papa continued their stroll, she can hardly wait to be rid of him, he's getting too expensive for her – Aron saw her lips move and guessed what she was saying – and who does **La Kaminer** hope to hook after he's gone, with her hair falling out by the handful already, as if she didn't have enough of a dowry; she isn't fooling anyone with that savings-and-loan bouffant, the bald spots show a mile. Papa merely nodded as usual, distracted by a bit of litter on the sidewalk, a scrap of newspaper, a lemon rind. Don't look now, it's Strashnov, said Mama, her lips twisting into a sour smile. You think the snob will say hello? Hello, Mr. Strashnov, how's the family?

It's your father, said Aron flatly. **Y'all**, let's go, said Gideon, transfixed at the window: his father, dressed to the nines in Terylene trousers, with a tie on, even in this khamsin. Mr. Strashnov nodded disdainfully and pursed his lips as he minced along. Well, that's a fine hello; thinks he's too good for us, does he? Papa blocked his way. Back from the whatsis ... the university? Mr. Strashnov pursed his lips again. Ha, he has to make faces before he'll talk, before he'll open his mouth and say hello, afraid to let in a little air, is he? And his wife has to take in typing and work her fingers to the bone, because Professor **Inallectual** can't earn a decent living, hissed Mama, waving goodbye and shuddering in his chilly wake.

Come on, Ari, let's go, said Gideon, backing away from the window. But we haven't seen anything yet, whispered Aron. Why're the two of you so scared all of a sudden? Zacky and Gideon exchanged glances. Look, Ari, said Gideon, staring down at his sandals, actually ... there's something I wanted to tell you before, before we broke in – Not now! fumed Aron, we'll go ahead as planned! And he strutted

back to the center of the room, with Zacky and Gideon reluctantly following him till they too fell under the spell of this raided sanctuary, this unsuspected ice cube in a block of steamy flats, and they tiptoed after him over the rug-checkered floors, past the black leviathan of a piano in the salon; Aron pointed to a trio of ivory figures on the bookshelf, then paused to contemplate the statuettes on another shelf, a group of naked men and women holding hands as they danced, a boy with his chin resting on his hand, a curvaceous torso – and suddenly he remembered his old guitar with the crack down the middle and the strings all torn; he had taught himself to pick out tunes, his sister Yochi loved to hear him play, but Mama and Papa said he couldn't have a new one, his bar mitzvah was only a year and a half away and they had other plans for him. Aron paced resentfully and stopped in front of the painting with a castle carved out of a cliff that looked as if it might crash into the sea any moment. Her and her pictures, he muttered, hands on his hips, you've got to be **meshuggeneh** to paint like that. And Gideon said, Right, that's what my father calls "modern art." Aron could just imagine him saying those words. It's phony, it's ridiculous, I feel like taking a hammer and smashing it to bits, he ranted, kicking the wall for emphasis. And then he stopped: the piano seemed to rumble a warning.

Come on, squealed Zacky, haven't we seen enough already? No, and we don't have proof yet either, replied Aron, turning away. That was really dumb, what you said about her not having a shadow, said Zacky. Well, she doesn't, snapped Aron, surveying the book-lined shelves. Why else does she carry a parasol all summer, and what about the time we followed her, why did she slink behind the buildings and the trees? To fool us, that's why; Zacky snarled and shifted his weight, pressing his legs together in distress. His lumpish potato face glowered at Aron. Then he peeked through the blinds and recoiled.

Aron noticed and peeked out with him. Below, under the fig tree, was a heavyset man glancing anxiously over his shoulder. Gideon too peeked out. The man approached a small green Fiat and started fumbling in his pockets for the keys. Aron had never seen this man before, but with a pounding heart he knew who it was. Once he'd overheard a grownup say that Zacky's mother, Malka Smitanka, had someone on the side. He had started following her around, watching her whenever she went out, but he'd never caught a glimpse of the someone on the side before. Now the big man straightened his belt, smoothed his thinning hair, and got into the car. Zacky's lips moved in a silent curse, a scream of alarm that resounded all the way to Africa, where his father drove a **bulldozer** for Israel Waterworks. The boys stood frozen at the window. Aron was sad that Gideon had seen the someone on the side, his Gideon, who was so pure and noble; whenever Zacky told one of his jokes, he and Aron would laugh politely and look away. A moment passed, and they stood together in silence, afraid to budge, and then Zacky's mother stepped out on the balcony, wearing her bathrobe, and called him home for lunch. Lunch she feeds him at five in the afternoon, said Mama as the green Fiat drove by; we're not inviting her to the barmitzvah, and that's that. I will not shake hands with her after him. She's calling you, said Aron quietly. Mind your own business, growled Zacky, I'm not hungry, let's look around some more.

They lingered in the semidarkness for a while, and then slowly, like sprats in a stream, began to drift through the corridor into Edna Bloom's bedroom, where they circled quietly, past the neatly made bed, the ornamental mirror above her dressing table, the tiny basin ... and the nylon stocking draped over the chair. Zacky and Gideon peeked at each other, and bright red stains spread over their faces, but Aron noticed nothing, he had just been overwhelmed by a painting that went on for half the wall. **"Get a load of him."** Zacky signaled Gideon, who saw what was happening and quickly grabbed Aron's hand. Let's go, Ari, he murmured uneasily, you'll get in trouble if you hang around. But Aron only shook his hand off and continued staring at the fettered horse in the foreground, mimicking the lips that curled with strain; "Modern art" they call this crap? But his eyes bulged out with the gasping horse. Move, wake up! called Gideon, as Aron spotted the dead man under the horse, and then recognized the shape of the bull, only its eyes were in the wrong place, though strangely enough they looked right that way; and then he saw the tortured faces, the fractured bodies, and the woman

hovering in the background, lamp in hand. He tried to fight it, this “modern art,” and staggered out of the saton – Where’d they go, I’m stranded – but he found himself staring at the picture again, this is ridiculous, even I can draw a better horse, I can definitely draw a better bull, with all the practice I’ve had copying the label on Green Cow cheese. But suddenly there were tears in his eyes, big, slow drops from a secret well. What’s the matter, **dum-dum**, you’re crying like a girl? I am not. Are too. If Papa could only see you now! Who cares. Let him laugh at me. Let him run home and tell Mama. Little Aron’s going “artistic” on us, going **inalektual!**

Ari! Gideon called impatiently from the doorway. He was sick of waiting. But Aron didn’t answer. Gideon peered around the room till his eyes rested on an enormous pink-lipped conch adorning the shelf. Where does she find this sickening stuff, he sneered, thinking, Hurry up, she’ll catch us, as he nearly ran out, but stopped himself and turned to stare again at the baffling conch that seemed almost to come alive and squeeze itself around an invisible object. Goodbye! He was out of there, jumping three stairs at a time with Zacky close behind him, shaking off the **prissiness** of Miss Edna Bloom, her and her paintings and her matchstick furniture, but Aron, they knew, would yell at them later for running out on him.

Aron shook a fascinating paperweight, watched the snow falling on a lonesome mountaineer, and kept him company through the blizzard. By the entrance door there was a display of soldier dolls in uniform, the kind Shimmik and Itka collected from their trips abroad, only hers were arranged in a grand parade of trim guardsmen and mustachioed gendarmes, from Greece and Turkey, and England and France, like a great international army; and then, casually, Aron went back to the painting. First he faced it, then he turned away, then he turned back to gape at it some more, shutting his eyes, surrendering with open arms, backing off with a little dance, meandering like a lost panther, like a spy colliding with his mirror image, scratching where his skin tingled, glancing over his shoulder, what if it came off the wall and started following him, and a flower blooms out of the sword in the dead man’s hand, and suddenly you see the eyes everywhere, run for your life.

Edna Bloom’s had purity. Oho, just look at those surfaces, hissed Mama in his brain, look at this dust, but to him it was stardust, and someday a knight would come riding into this enchanted castle and break the spell, and then – Aron shivered and hugged himself.

He paused in front of the refrigerator. You think this is a cupboard you can open any time you like? If you want something, ask me. He pulled the handle. Amazing. Starvation corner, rasped Mama’s voice: a vegetarian refrigerator. A spinster’s kitchen. I tell you it’s unnatural! It is, he agreed, so white, so empty, no meat, no chicken, no salami, no medicine vials or stools to take to the clinic; there was hardly anything in there, except for a couple of shriveled cucumbers, a jar of sour cream, a bottle of milk, half an apple wrapped in a napkin, a bowl of cottage cheese. Yet in a way it was beautiful, unspoiled. He stood and stared, eager to learn more, the secret of her ascetic code. Are you crazy? She’ll be here any minute, she’ll catch you red-handed. No, she would never do anything to hurt me: My gallant knight, you’ve come at last. And then he hurried to the toilet and peed luxuriously, who knows, someday he might even bring himself to poop in here; to rehearse the possibility he pulled his pants down and sat on the toilet, all sweetness and light, dangling his trouser-bound legs; behind the door was another picture, of a kneeling bull and a beautiful lady stroking its back. Sure, why not, he could do it here. Masterfully he pulled the chain, smiled at the water swirling in the bowl. No fear of disgusting surprises in this toilet.

Aron took one last peek through the blinds. Mama and Papa were about to disappear into the house, but just as they reached the fig tree, Edna Bloom approached from the opposite direction, slender, boyish Edna Bloom, with her fuzzy yellow hair shining between the leaves. Okay, let’s see if you have any guts now. Good evening, Miss Bloom. Good evening to you, Mrs. Kleinfeld, Mr. Kleinfeld. You seem a little tired today, Miss Bloom. Well, I have to work for a living, Mrs. Kleinfeld. Yes, but

you're awfully pale. Ha, did you see that, Moshe, the way she blushed when she looked at you? Oi, **Hindaleh**, you're imagining things, a girl like her and a man like me. You should relax more, take things easy, Miss Bloom, you have your whole life ahead of you. Ha, any minute she'll miss the boat. What are you talking about, **Hindaleh**, she's just a girl. Allow me to be the judge of such matters, Moshe, to you she may seem young enough, but I looked at her teeth and teeth don't lie, she's thirty-eight if she's a day. So, maybe she isn't interested in men. Not interested? Ha! Don't you see the way she devours you with her eyes, the little **lemaleh**, butter wouldn't melt, **pshhhhi, pshhhhi** – Bye-bye, Miss Bloom, take care now. Yes, thank you, goodbye. And Aron watches her trail away; twenty-five seconds left to lock the door with his passkey, but he can't resist one last look, and now she's in the building, now she's walking up the stairs, now she's on the second floor, run for your life. Wait.

Because as soon as Mama and Papa turned their backs she played a trick on them: instead of walking up the stairs to her apartment, she waited in the hallway till they disappeared into Entrance B, and then, breathless and birdlike, she reappeared, and Aron's heart soared, so she too had tricks, she too had secrets, and she rested under the leafy branches of the fig tree, surrendering to it like a girlish bride, breathing in its fragrance, her delicate hand on the massive trunk. And suddenly she trembled. Papa was there. He had returned. How did he know? He approached the tree and stood beside her. A hunk of a man, twice her size. A bull and a crane. But where was Mama? The broad leaves rustled, concealing, revealing. "Moshe!" She called Papa from afar. Papa hunched his shoulders. Then he reached up and tapped one of the branches. A cloud of tiny insects swarmed through the air. Edna recoiled. Papa looked away. "Moshe!" shouted Mama from the hallway, key in hand. "Where did he go?" "See, I had this feeling, Miss Bloom," said Papa, his words fluttering up to the fourth-floor window. "What feeling, Mr. Kleinfeld?" She tilted her chin up but avoided his eyes. A blush spread over her smooth white neck, visible only to Aron. "The fig tree is sick," said Papa simply. Their eyes did not meet. They spoke through the tree. "My fig tree, sick?" whispered Edna Bloom, saddened, shocked, though the tree belonged to everyone.

By the time Mama came down again, all three boys were standing under the fig tree with Edna Bloom. A single glance was enough for Mama. There was something murky in her eyes. High and low she hunted for Papa, squinting suspiciously up at the tree. At last she caught sight of his fleshy red heels flopping around. Controlling her temper she called his name. The leaves fluttered, and Papa's sunny face popped out between the branches. "Oioioi," he greeted her. "This tree is covered with sores, **Mamaleh**, it needs a good wiping." Mama pursed her lips and squeezed her collar tight. Then she turned abruptly and hurried home.